

образец 2

Homo
Cyborg

001

«Прогресс непрерывно сужает сферу нашей свободы»

Дмитрий Булатов – самый известный российский художник, куратор и теоретик в области science art, чьи произведения и выставочные проекты пользуются популярностью во всем мире. В своей работе он парадоксальным образом сочетает новейшие научные практики и вдохновение орденом иезуитов.

д

«Позволительно ли предположить, что народ, чьи глаза привыкают рассматривать результаты материальной науки как продукты прекрасного, через некоторое время не снизит в сильной степени свою способность судить и воспринимать то, что является самым неуловимым и наименее материальным?», — этот вопрос в XIX веке задавал себе Бодлер, когда размышлял о феномене фотографии. Существует ли для вас такая дилемма?

В данных координатах наука существенно расширяет смысловую глубину искусства и делится с ним технологиями. А что искусство возвращает науке взамен? Может ли метафора быть научным инструментом?

— Сегодня принято считать, что искусство стало обращать внимание на науку и технологии только в XIX—XX веках с развитием фотографии, кино, телевидения и компьютеров. Сторонники этой точки зрения делятся на две категории. Одни полагают, что, вступая во взаимодействие с наукой, искусство становится «научным», обретает серьезный статус и позволяет ответить на те вопросы, которые безуспешно пытались решить в течение предыдущих столетий. Другие уверяют, что искусство способно избежать влияния со стороны научно-технологического прогресса и любые попытки его «онаучить» или «технологизировать» приносят только вред и отвлекают художников от решения вечных проблем человеческого существования.

Я не могу согласиться ни с той, ни с другой точкой зрения. Потому что искусство, наука и технологии изначально связаны друг с другом и будут связаны, пока существует человек.

Это не значит, что искусству предуготовлена роль некой прикладной методологии по оценке качества границ естественнонаучного знания, о чем беспокоится Бодлер. Хотя бы потому, что в отличие от науки и технологий, искусство все время решает одни и те же мировоззренческие вопросы, на которые невозможно дать окончательного ответа. Дилемма о сочетаемости «материальной науки» и искусства была всегда. И каждый раз она разрешается на уровне отдельного художника, который существует на пересечении множества временных координат. С одной стороны — он живет в современности, которая взыскует социальной скорости и технологической адекватности, а с другой — он пребывает в длительной традиции искусства, которая нивелирует понятие времени. Хороший художник обычно старается держать под контролем все возможные координаты.

— Дело в том, что наука, равно как и порождаемые ею технологии, всегда сосредотачивается на построении работоспособных моделей. Это происходит из внутреннего убеждения ученых в том, что логическими закономерностями окружающий мир и человека можно и должно исчерпать. В основе такого подхода лежит так называемая «идея разума». Она заключается в том, что любое событие якобы вытекает из некоего плана, проекта или программы. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что упомянутой идее разума соответствует нечто совершенно противоположное — а именно понимание того, что все вещи меняются во времени и никогда не функционируют по заранее намеченному плану. Как раз здесь в свои права и вступает искусство, которое посредством художественных метафор не столько подтверждает существующие версии современности, в том числе и научно-технологические, сколько очерчивает границы их применимости. В этом отношении искусство вовсе не обязано сосредотачиваться на интерпретациях логических закономерностей в природе, чем, по преимуществу, занимается наука. Зато в своих

высказываниях оно может обратить внимание на множество неочевидностей в применении новых технических возможностей.

Так, например, в Массачусетском технологическом институте уже более 25 лет работает замечательный художник Джо Дэвис. Он делает очень сильные проекты, в которых принимают участие художники, инженеры, ученые, философы, военные.

В рамках одного из таких проектов он изобрел специальный детектор, с помощью которого транслировал вагинальные сокращения балерин Бостонского театра в созвездие Тау Кита через радар космической обсерватории Хейстек.

Это была метафора «женского дыхания Земли», а возглавлял проект полковник ВВС США.

Несмотря, кстати, на очевидное, с точки зрения полковника, «безобразие в стенах МТИ», именно этот проект впоследствии очень помог ученым наладить систему кодирования и передачи информации в космос.

А может ли художник, например, работающий с ДНК, стать генетиком? К чему следует стремиться художнику в science art?

— Здесь многое зависит от стратегий, которые выбирает художник, от его установок и внутренних убеждений. Например, одни авторы уделяют внимание ситуациям, когда ценность художественного произведения возникает в результате «хакерски-активистского» подхода. Наиболее известный тому пример — деятельность американской группы «Ансамбль критического искусства», члены которой в свое время были арестованы ФБР в качестве биотеррористов, готовясь к выставке в одном из музеев США. Основная деятельность этой группы заключалась в предупреждении об опасностях, которые несут в себе новейшие технологии и основанные на них современные вооружения. Понятно, что вектор этой активности лежит в большей степени в социально-политической плоскости.

Если мы говорим об исследовании новых медийных носителей, то работа художника может быть связана с научными изысканиями напрямую. Так, в последнее десятилетие на территории science art большое внимание уделяется объединению цифровых средств с влажной биологией живых систем. Пересечение этих областей образует совокупность методов и процессов, которые получили название «влажных технологий». В рамках этой медиасреды стало возможным возникновение произведений искусства, содержащих в себе свойства живого организма и технического изделия. По мере появления таких работ произошло кардинальное изменение в положении искусства последних ста лет — реальность представления была замещена представлением реальности, и различие между изначально виртуально-искусственной моделью и реальным миром «схлопнулось».

Тестирование аверсов и реверсов этой реальности в отношении художественной системы, работу по смещению акцентов — я и полагаю приоритетной задачей в области современного технологического искусства.

В 2007 году в Колумбусе вы представили свой проект генетически модифицированных флуоресцирующих организмов. Этой работой вы в буквальном смысле реанимировали понятие «творца». Какие этические и моральные дилеммы это ставит перед художником?

— Над созданием этих организмов я работал с 2001 по 2004 год, и в качестве произведений они неоднократно демонстрировались в России и за рубежом. По сути дела это был один из первых международных арт-проектов, осуществленных в области трансгенетики. Но только после экспонирования этих работ в США известный журнал Wired поместил их в топ самых интересных новых организмов 2007 года. Что само по себе забавно, ибо к тому времени проект уже вошел во все антологии science art. Один из разделов как раз и был посвящен понятию «этики», которое — как вы знаете — Аристотель произвел от слова «этнос», означающего устойчивое и привычное. Сегодня, пытаясь прервать эту аристотелевскую традицию, мы вынуждены вновь связывать этику с познанием, но не подчиняя этическое познанию, свободе, власти, а заменяя эти построения конструктами этического отношения к Другому.

Особую значимость такой подход приобретает сейчас. Технологии, до этого механически менявшие главным образом окружающий мир, теперь оказываются нацеленными на конструирование нового типа материальности, которую можно определить через понятие «материальной жизнеспособности».

Эта «материальная жизнеспособность» превращает знаковую систему из просто подвижной (кино-, видео) или жизнеспособной (AI, AL, VR) — в живой, материально зафиксированный артефакт. Таким образом мы конструируем материальность на влажно-биологическом уровне и учимся его изменять — тем самым получаем доступ к своей собственной эволюции и с необходимостью задаемся вопросом, что вообще означает быть человеком. Иными словами, мы выходим на понятие этики как некоторого рода «внутренней оптики», осуществляющей критический аспект знания и восприятия. Этика предстает перед нами как аскетика, как скрупулезное испытание себя и своего «места обитания» этой возможностью присутствия Другого.

Все, о чем вы говорили, все больше становится очевидным на уровне тела. Сегодня набирают популярность биотехнологии, бодихакинг и добровольная киборгизация — эти явления перемещают из области фантастики в реальность. Вас беспокоит этот процесс?

— По роду своей деятельности мне приходится много общаться со специалистами, работающими в разных наукоемких направлениях. И все они едины во мнении, что в нынешних условиях наука все более срастается с различными новотехнологическими приложениями. Она начинает играть не только человекообразующую роль, которую во все времена подразумевало развитие научного знания, но и возлагать на себя функции буквального преобразования биологической природы человека. Это стремление науки познать и тем самым преодолеть природные закономерности заставляет меня вспомнить о знаменитом гетевском изречении «умри и обновись, приди и будь» (stirb und werde).

Или, выражаясь современным языком — предполагает усилие по овладению постбиологической «персонологией», то есть бесконечно глубоким переплетением живого и неживого, искусственного и естественного.

Но если это так, то тогда наука, как способ познания окружающего мира и вынесения универсального суждения о нем, связана не просто с человеком, а с пространством возможного становления человека. В этой ситуации расширение новейших технологий создает колоссальные возможности для манипулирования этим пространством. Исчезают границы между биологическим и абиологическим, формируются множественные идентичности, а наше тело приобретает свойства дрейфующего гибрида. Возникают новые ограничения человеческой свободы и, соответственно, необходимость ее переосмысления. Основной «закон технологий», неоднократно сформулированный в философии и социологии XX века, гласит: несмотря на то, что каждый новый шаг прогресса, рассматриваемый отдельно, кажется нам желательным, технологический прогресс в целом непрерывно сужает сферу нашей свободы. Таким образом, из общепринятого представления о прогрессе как о выборе между старым и новым — а ведь именно это и является сутью свободы развития — совсем не следует, что этот шаг в будущем останется добровольным. И это меня беспокоит более всего.

Вы противопоставляете художника корпорации. Эта идея подразумевает под собой борьбу против контроля и авторитаризма. Но сегодня современные корпорации, особенно наукоемкие, в подавляющем большинстве прикрываются гуманистическим пафосом и дружелюбными практиками ведения бизнеса. Предлагает ли science art художнику новые стратегии борьбы?

— Нет, я не свожу работу художника в области science art к противопоставлению деятельности корпораций. Такие проекты конечно есть, но их процент невелик. С моей точки зрения, задача художника — это не дело освобождения и не переустройство действительности в направлении чего-то более правильного или справедливого. Из уст активистов мы привыкли слышать, что власть — это насилие. Это так, но я хотел бы уточнить, что насилие — это элемент добуржуазной власти. Эта метафорика справедлива по отношению к России, но лишь отчасти. Подлинная власть индустриальной эпохи — это манипуляция и раздача жизненно-важных ресурсов. При этом задача манипуляции заключается не в том, чтобы превратить народ в толпу, лишённую собственной воли, а в том, чтобы заставить толпу проявить волю. А для этого нужно не подавлять субъектность, но всячески понуждать к ее проявлению. Отсюда и возникает гуманистический пафос и всевозможная «дружелюбно-заботливая» риторика технологических корпораций.

Если мы говорим о критической составляющей технологического искусства, то я вижу роль художника в том, чтобы противостоять лукавству и целенаправленному соблазну этой риторики. Вне зависимости, говорим ли мы о робототехнике, IT или биомедицине. Делать это можно по-разному и в том числе — всматриваясь в саму идею автоматизации как общего свода правил, подразумевающих утверждение технологически обусловленного подчинения и манипуляции. На мой взгляд, именно здесь мы и можем найти живой аспект этого неживого измерения — тот ресурс существующих возможностей, который позволяет нам задаваться вопросом об онтологических качествах живого по отношению к природе технического.

Ваша онтология технологического апокалипсиса сводит художника на одном идейном пути с консерваторами и традиционалистами. Вам нравится такое соседство? В чем для вас заключается революционный пафос Контрреформации?

— Тем, кто хотел бы проследить историю технологического искусства и нюансы его развития, я бы рекомендовал взглянуть намного далее XX столетия. Широту этой темы, в частности, наглядно демонстрирует беспрецедентная борьба средств информации, которая развернулась между Реформацией и Контрреформацией в XVI веке — в то время, когда христианская идея спасения была подменена двумя первоначально дистанцированными друг от друга идеями здоровья и свободы. Именно этот период отмечен появлением многих технических инноваций в искусстве и обществе. В связи с этим мне особенно интересна деятельность монахов-иезуитов, которые объединили в своих рядах ученых, теологов и художников.

На мой взгляд, именно в это время и зародилась сама концепция современного искусства, которая, согласно идеологу Контрреформации Игнатию Лойоле, заключается «в полезном созерцании образов ада, дабы вера человека приобрела благочестивый характер». Сегодня эсхатологические сюжеты являются неотъемлемой частью повествования современного искусства, и если бы мы понимали корни этой традиции, я уверен, нам бы удалось избежать многих недоразумений.

Да, я считаю себя приверженцем традиции, утверждая, что история искусства — это история технологий запоминания и передачи образов, не говоря уже о приведении их в движение. Целые столетия можно причислить к истории медиа уже потому, что на их протяжении люди грезили о новых технологиях и разрабатывали инструментарий, научная доработка которого способствовала возникновению всех известных на сегодняшний день технологий. Говорим ли мы о рождении реализма в живописи, на примере перехода от технологий сохранения трупов к технологиям закрепления образов усопших (фаумский портрет), или о camera obscura как устройстве для восприятия образов и о *laterna magica* как устройстве для их отображения. В этом отношении, традиция для меня — это не отказ от перемен, но продвижение принципа «новое рядом со старым» вместо принципа «новое вместо старого».

При этом вы участник конгресса «Стратегии 2045», где много говорится о бессмертии, постчеловеке и прочих трансгуманистических проектах. Нужно ли человеку так сильно бояться смерти, не закончится ли вместе с концом смерти и сам человек?

— Здесь нет противоречия. Та самая подмена христианской идеи спасения идеями здоровья и свободы, которая последовала в западной цивилизации в эпоху *modernity* и которая в значительной степени доминирует в современном мире, задавала определенный вектор развитию науки и технологий. В сфере биомедицины, например, основная угроза существованию человека была опознана в мире природы, а путь «спасения» — в научно оформленном технологическом контроле внешних природных сил. Природа предстала в образе врага, а наука и технологии — в лике спасителя. К этим условиям религиозная традиция адаптировалась без потерь; она никуда не исчезла, будучи приватизированной новым религиозным движением науки.

Гарантии бессмертия, которые ожидали христиан за пределами этого мира, технологии XXI века подменили тех-

ническими гарантиями потенциально вечного повторения внутри этого мира — повторения, которое становится формой бессмертия благодаря преобразованию недорогих, доступных и неживых компонентов во все на свете.

Конечно, современные технологии производства искусственной материи пока еще находятся на этапе своего становления, однако если природа смогла дойти до такого уровня, то нет никаких преград на пути, следуя которому человечество научилось бы внедрять подобные технологии в жизнь. Так что эта форма материалистического, технически гарантированного бессмертия будет достигнута. Главный вопрос для меня заключается не в том, станем ли мы гибридными, полуживыми сущностями или нет, но в том, как это произойдет, и кто при этом будет принимать решения. А также — способны ли современные художники, работающие с IT, робототехникой, синтетической биологией и тканевой инженерией, оказать какое-либо влияние на становление этой концептуально здоровой и рационально выдержанной материальной реальности.

В конце 2012 года у вас состоялся большой кураторский проект в Мариборе. Вы нашли там какие-нибудь ответы?

— Одна из задач этого проекта заключалась в том, чтобы научить зрителя активным формам взаимоотношения с новыми технологиями. А такие стратегии можно выработать, только ответив на два основных вопроса: что лежит в основе возникновения «искусственной», «технологической» реальности и как эта реальность воздействует на нас. Для того, чтобы очертить возможные ответы, я предложил термин — «технологическое бессознательное» и попросил художников осмыслить его в своих произведениях. С этого и началась работа над выставкой. Трактовок оказалось две. Первая из них описывает воздействие технологий на человека через язык и высказывания.

Есть некий архив нарративов и мифов, которые существуют в истории новых технологий в качестве повторяющихся культурных мотивов. Эти нарративы представляют собой заранее сфабрикованные формы технологического опыта. Они в какой-то момент времени активируются в сознании человека и способствуют формированию реальности новых технологий.

Вторая трактовка «технологического бессознательного» описывает воздействие материи. Здесь предполагается, что «искусственная» реальность производится инфраструктурой технологического порядка, которая активирует до-индивидуальное, до-вербальное и до-социальное измерение человека. И это воздействие нельзя артикулировать в рамках оппозиций субъект — объект и человеческое — нечеловеческое. Эти два режима мягкого, распределенного структурирования технологиями — «дискурсивный и не-дискурсивный» — функционируют как две стороны одной медали. Они и дали название всему проекту — Soft Control. Исходя из этих трактовок, художники предложили разные стратегии наделения значением технологических структур. Присвоение и изменение одного из описанных нарративов происходило на различных уровнях — как на уровне по-

вестований о технологиях, так и на уровне технического моделирования автоматизмов. Эти проекты были представлены на выставке, а затем осмыслены в рамках научной конференции.

Таким образом, мы показали, как художники создают новые формы и новые идентичности — но не в качестве протагонистов того или иного технологического нарратива, а в качестве его творцов.



Роботы смутили людей просьбами потрогать себя

Ученые из Стэнфордского университета обнаружили, что прикосновение к «интимным» зонам роботов вызывает у человека психофизиологическое возбуждение. Доклад будет представлен в июне 2016 года на конференции Annual International Communication Association Conference, кратко о проделанной работе пишет IEEE Spectrum.

Авторы изучали, каким образом люди будут реагировать на просьбы робота прикоснуться к различным частям его тела. Десять добровольцев (четыре женщины и шесть мужчин) слушали и выполняли команды робота, который просил их при помощи одной руки потрогать его в определенной зоне. Например, робот мог попросить дотронуться до его руки или ноги, а также до тех частей тела, которые исследователи назвали «менее доступными» — до глаз, ягодиц, гениталий и груди.

К другой руке добровольцев был прикреплен датчик, измерявший электропроводность их кожи. Электропроводность кожи возрастает с повышением возбуждения, что позволяло ученым следить за психофизическим состоянием участников эксперимента. Стоит заметить, что в контексте данного исследования подразумевалось не сексуальное возбуждение, а общая реакция человека — внимательность, настороженность и осознание.

В результате 26 тестов ученые заметили, что прикосновения к менее доступным местам, то есть таким, к которым мы обычно не прикасаемся в повседневной жизни, вызывают у людей возбуждение. В то же время, когда участники трогали робота за руку или ногу, а также когда им просто надо было дотронуться одним пальцем, они оставались спокойны.

Исследователи объяснили это реакцией на человекоподобность робота. Конечно, существует множество ограничений и данную ситуацию нельзя считать универсальной — например, очень много зависит от условий эксперимента. В данном случае участники сидели напротив робота и слушали его команды, поэтому они могли ассоциировать его со взрослым человеком. Один из авторов работы отмечает, что если бы участники брали робота на руки, как ребенка, то подобной реакции могло бы и не быть.

Тем не менее, ученые считают, что при создании антропов, которые используются как обслуживающий персонал в общественных местах, надо учитывать реакцию людей и, например, не помещать кнопки управления в областях, аналогичных табуированным зонам человеческого тела.



Манифест киборгов: наука, технология и социалистический феминизм 1980-х

Эта глава – попытка выстроить иронический политический миф, адекватный феминизму, социализму и материализму. Возможно, более адекватный в том смысле, в каком адекватно скорее богохульство, чем религиозное преклонение или отождествление. Для богохульства, кажется, всегда требовалось принимать вещи крайне серьезно. Я не знаю, какую еще позицию заимствовать из светско-религиозных, евангелических традиций американской политики, включая политику социалистического феминизма. Богохульство защищает от Морального большинства внутри и в то же время настаивает на необходимости общины. Богохульство – это не отступничество. Ирония заключается в противоречиях, которые не разрешаются в более объемные целостности, даже диалектически, в напряжении удерживания несовместимых вещей, поскольку обе или все необходимы и истинны. Ирония – в юморе и игре всерьез. Это и риторическая стратегия, и политический метод, хотелось бы, чтобы ему оказывалось большее уважение со стороны социалистических феминисток. Средоточие моей иронической веры, моего богохульства – образ киборга.

Киборг – это кибернетический организм, помесь машины и организма, создание социальной реальности и вместе с тем порождение вымысла. Социальная реальность – это живые социальные отношения, наша важнейшая политическая конструкция, вымысел, изменяющий мир.

Международные женские движения сконструировали «женский опыт», раскрыв или открыв этот ключевой коллективный объект. Такой опыт есть вымысел и наиважнейший политический факт. Освобождение опирается на конструкцию сознания, активное воображение угнетения и тем самым возможности. Киборг воплощает вымысел и живой опыт, меняющий то, что считается женским опытом в конце XX в. Это борьба на жизнь и на смерть, но граница между научно-фантастическим вымыслом и социальной реальностью – оптическая иллюзия. Современная научная фантастика кишмя кишит киборгами – одновременно животными и созданиями механическими, населяющими миры, которые в одно и то же время естественны и искусственны. В современной медицине тоже полно киборгов, смычек между организмом и машиной, задуманных как кодированные устройства с такой интимностью и силой, каких не ведала история сексуальности. Киборгранический “секс”



Ироническая грёза об общем языке для женщин в интегральной схеме

возрождает нечто от чудесной репликативной барочности папоротников и беспозвоночных (такая замечательная органическая профилактика гетеросексизма). Кибборганическая репликация отрезана от органической репродукции. Современное производство выглядит как сон о колонизации труда кибборгами, сон, в сравнении с которым кошмар тейлоризма кажется идиллией. Современная война – оргия кибборгов, закодированная как C³I, команда–контроль–коммуникация–информация, как называлась 84–миллиардная статья военного бюджета США на 1984 г.

В моем понимании, кибборг – это вымысел, отображающий нашу социальную и телесную реальность, а также ресурс воображения, подсказывающий ряд весьма плодотворных комбинаций.

Биополитика Фуко – вялое предвосхищение кибборганической политики, почти совсем неисследованное поле. Конец XX в., наше время – это мифическое время, мы все – химеры, выдуманные и вымышленные гибриды машины и организма; короче, мы – кибборги. Кибборг – наша онтология; от него идет наша политика. Кибборг есть конденсированный образ как воображения, так и материальной реальности – два совмещенных центра, структурирующих любую возможность исторической трансформации.

В традиции западной науки и политики – традиции расистского капитализма с доминированием мужчины; традиции прогресса; традиции освоения природы как ресурса для продукции культуры; традиции воспроизводства себя самого из отражений других – отношение между организмом и машиной было пограничной войной. Ставки в этой войне были территории производства, воспроизводства и воображения. Эта глава – обоснование удовольствия от размывания границ и ответственности при их возведении. Это также попытка внести вклад в культуру и теорию социалистического феминизма в постподернистском, ненатуралистическом ключе и в утопической традиции воображения мира без пола – возможно, это мир без рождения, но, как знать, может, также и мир без конца. Воплощение кибборга – за рамками истории спасения. Он также не отмечает срок в эдиповском календаре, пытается залечить ужасные трещины гендера в оральной симбиотической утопии или постэдиповском апокалипсисе.

Как отмечает Зоя Софулис в неопубликованной рукописи “Лаклейн” (Lacklein) о Лакане, Клейн и ядерной культуре, самые ужасные и, возможно, самые многообещающие монстры кибборганических миров воплощаются в неэдиповский нарративах с различной логикой подавления, которую нам следует понять ради собственного выживания. Кибборг – создание постгендерного мира; он не имеет ничего общего с бисексуальностью, предэдиповским симбиозом, неотчужденным трудом или прочими соблазнами органической целостности, достигаемой окончательным собиранием всех сил всех частей в некое высшее единство. В каком–то смысле, у кибборга нет истории происхождения в западном понимании; “последняя” ирония: поскольку

киборг – это также чудовищный апокалиптический телос разогнанных западных овладений абстрактной индивидуации, конечная самость, оторванная, наконец, от всякой зависимости, человек в космическом пространстве. История происхождения в западном гуманистическом смысле основывается на мифе об изначальном единстве, полноте, блаженстве и ужасе, изображаемых фаллической матерью, от которой все люди должны оторваться – задача индивидуального развития и истории, супермифы–близнецы, ярче всего очерченные для нас в психоанализе и марксизме. Хилари Клейн отметила, что и марксизм и психоанализ в своих концепциях труда и индивидуации, как и гендерной формации, основываются на схеме изначального единства, откуда различие должно производиться и вписываться в драму эскалации власти над женщиной\природой. Киборг пропускает стадию изначального единства, отождествления с природой в западном смысле. Это его незаконное обещание, которое может привести к подрыву его телеологии под знаком Звездных войн. Киборг решительно отвержен частности, иронии, интимности и перверсии. Он оппозиционен, утопичен и совершенно лишен невинности. Не структурируемый больше полярностью публичного и частного, киборг определяет собой технологический полис, основанный отчасти на революции социальных отношений внутри ойкоса, дома. Природа и культура преобразуются: первая не может быть больше ресурсом для усвоения или поглощения последней. Отношения, обособляющие формирование целостностей из частей, включая полярность и иерархическое господство, оказываются под вопросом в мире киборгов.

Вопреки надеждам франкенштейновского монстра, киборг не ожидает от отца, что тот спасет его возрождением Эдема, т.е. изготовлением гетеросексуальной пары, восполнением его в конечной целостности, городе и космосе, Киборг не мечтает об общности по образу органической семьи, на сей раз без эдиповской проекции. Киборг не узнал бы Эдемского сада; он не из праха создан и не может мечтать о возвращении к праху. Возможно, именно поэтому мне хочется увидеть, сумеют ли киборги поколебать апокалиптику возвращения к ядерному праху, маниакального желания дать имя Врагу. Киборги непочтительны; они не помнят космоса. Они остерегаются холизма, но нуждаются в связи – у них, кажется, природное чутье к политике единого фронта, только без авангардной партии. Главная беда с киборгами конечно, то, что они являются незаконными отпрысками милитаризма и патриархального капитализма, не говоря уж о государственном социализме. Но незаконное потомство часто идет наперекор происхождению. В конце концов не суть важно, кто их отцы.

Я вернусь к научной фантастике о киборгах в конце главы, а сейчас мне хочется отметить три ключевых крушения границ, которые делают возможным нижеследующий политически фантастический (политически научный) анализ. К концу XX в. в Соединенных Штатах научная культура,

граница между человеческим и животным во множестве мест была прорвана. Последние островки уникальности утратили чистоту, если не были обращены в парки-аттракционы – язык, орудия труда, социальное поведение, мыслительные события. Нет ничего, что действительно убедительно фиксировало бы разграничение человеческого и животного. Многие люди не чувствуют больше потребности в таком разграничении; наоборот, многие ответвления феминистской культуры утверждают удовольствие от связи с человеческими и иными живыми существами. Движения за права животных – это не формы иррационального отказа от человеческой уникальности: это ясное и сознательное признание связи, пересекающей дискредитированную брешь между природой и культурой.

Биология и эволюционная теория за последние два столетия вывели современные организмы как объекты познания и одновременно свели черту между человеком и животным к едва заметной линии, заново наносимой в идеологической борьбе или профессиональных спорах между науками о жизни и социальными науками.

В этом контексте преподавание современного христианского креационизма следует заклеить как форму издевательства над детьми. Биологически-детерминистская идеология – лишь одна из позиций, открытых в научной культуре для дискутирования о смыслах человеческой животности. Для радикальных политических кругов остается немало места, чтобы оспаривать смыслы прорванной границы. Киборг появляется в мифе как раз в том месте, где нарушена граница между человеческим и животным. Киборги вовсе не возвещают отгораживания людей от других живых существ, напротив, они – свидетельство тревожно и приятно тесного спаривания. Животность получает новый статус в этом цикле брачного обмена. Второе прохудившееся разграничение – между животным-человеческим (организмом) и машиной. С докибернетическими машинами дело могло быть нечисто: в машине вечно обретался призрак духа. Этот дуализм структурировал диалог между материализмом и идеализмом, который был улажен диалектическим порождением, именуемым, по вкусу, духом или историей. Но главное, машины не были самодвижущимися, самоорганизующимися, автономными. Они не способны были осуществить мужскую мечту, а лишь пародировали ее. Они не были мужчиной, автором самого себя, но лишь карикатурой на эту маскулинистскую мечту о воспроизводстве. Думать, что они – нечто иное, казалось паранойей. Теперь мы не так уверены в этом. Машины конца XX в. сделали глубоко двусмысленным различие между естественным и искусственным, умом и телом, саморазвивающимся и выстраиваемым извне, как и многие другие разграничения, ранее применявшиеся к организмам и машинам. Наши машины свойственна тревожная живость, сами же мы пугающе инертны.

Технологический детерминизм – лишь одно из идеологических пространств, открытых переопределением машины

и организма в качестве кодированных текстов, через которые мы включаемся в игру письма и чтения мира. «Текстуализация» всего в постструктурализме, постмодернистская теория была проклята марксистами и социалистическими феминистками за утопическое пренебрежение живыми отношениями господства, обосновывающими «игру» произвольного чтения. Правда, что постмодернистскими стратегиями, типа моего мифа о киборге, подрываются мириады органических целостностей (например, поэма, примитивная культура, биологический организм). Короче, определенность того, что считается природой – источник интуиции и обещание невинности, – расшатывается, возможно, фатальным образом. Утрачивается трансцендентная авторизация истолкования, а с ней и онтология, обосновывающая западную эпистемологию. Но альтернатива этому – не цинизм или безверие, т.е. какая-то версия абстрактной экзистенции, вроде характеристик технологического детерминизма как разрушения «человека» «машиной» или «осмысленного политического действия» «текстом». Кем будут киборги – вопрос радикальный; ответ на него – дело выживания. Политика есть и у шимпанзе и у артефактов, так почему бы ей не быть у нас? Третье разграничение – подразделение второго: граница между физическим и нефизическим для нас очень расплывчата. Популярные книги по физике, рассказывающие о следствиях квантовой теории или принципа неопределенности, – своего рода научно-популярный эквивалент романов издательства «Арлекин» – как маркера радикальной перемены в американской белой гетеросексуальности: они все перевирают, но сама тема верна. Современные машины по сути своей – микроэлектронные устройства: они повсюду и они невидимы. Современная машинерия – непочтительное божество-высочка, насмехающееся над вездесущностью и духовностью Отца. Силиконовый чип – поверхность для письма; оно вытравлено на молекулярных весах, отклоняемых только атомным шумом, последней помехой для ядерных зарубок. Письмо, власть и технология – давние партнеры в западных историях о происхождении цивилизации, но миниатюризация переменяла наше восприятие механизма. Миниатюризация, как выяснилось, напрямую касается власти: маленькое – это не-столько красивое, сколько предельно опасное, как в ракетах средней дальности. Сравните телеприемники 1950-х гг. и телекамеры 1970-х гг. с наручными ТВ и карманными видеокамерами, которые рекламируются сегодня. Наши лучшие машины сделаны из солнечного света: они все легкие и чистые, поскольку они не что иное, как сигналы, электромагнитные волны, сектора спектра. Эти машины очень легко переносимы, мобильны – результат невероятных человеческих усилий в Детройте и Сингапуре. Людям далеко до такой текучести, они материальны и непрозрачны.

Киборги – это эфир, квинтэссенция. Вездесущность и невидимость киборгов делают машины Солнечного пояса («sun belt» юг и юго-восток США, где сосредоточена

индустрия высоких технологий. – Прим. ред.) смертоносными. Политически их столь же трудно увидеть, как и материально. Они затрагивают сознание – или его симуляцию. Это плавающие означающие, курсирующие по Европе в спецпикапах, и эффективно блокировать их способно скорее колдовство неприкаянных Гринэмских женщин (Greenham Common – женская организация, протестовавшая против размещения ядерных вооружений в ОК. – Прим. ред.), читающих силовые паутины киборгов, чем ратоборство старых маскулинистских политиков, чья естественная конституция требует оборонных проектов. В конечном счете «труднейшая» наука – о сфере наибольшей размытости границ, царстве чистого числа, чистого духа, C^31 , криптографии и сохранения сильнодействующих секретов. Новые машины такие чистые и легкие. Их инженеры – солнцепоклонники, проводники новой научной революции, ассоциирующейся с ночной грезой постиндустриального общества.

Болезни, вызванные этими чистыми машинами, – «не более» чем мельчайшие кодовые изменения антигена в иммунной системе, «не более» чем опыт стресса. «Ловкие» пальцы «восточных» женщин, давняя замороженность англосаксонских викторианских девочек кукольными домиками и принудительное внимание женщин ко всему мелкому достигают в этом мире совершенно новых измерений. Можно представить себе киборга Алису, исследующую эти новые измерения. Ирония в том, что неестественные женщины-киборги, производят ли они чипы в Азии или водят хороводы в тюрьме Санта-Риты после очередной антиядерной акции, – может стать, что как раз ими выстроенные единства и будут определять курс эффективных оппозиционных стратегий.

Итак, мой миф о киборгах – это миф о нарушенных границах, сильнодействующих сплавах и опасных возможностях, которые прогрессивные люди могли бы исследовать, как часть необходимой политической работы. Одна из моих посылок состоит в том, что большинство американских социалистов и феминисток видят углубившиеся дуализмы разума и тела, животного и машины, идеализма и материализма в социальных практиках, символических формулировках и физических артефактах, связанных с высокой технологией и научной культурой. От «Одномерного человека» до «Смерти природы» аналитические ресурсы, развернутые прогрессистами, акцентировали необходимое господство техники и звали нас назад, к вообразимому органическому телу для интеграции нашего сопротивления. Другая моя посылка – что потребность в объединении людей, пытающихся в мировом масштабе сопротивляться интенсификации господства, никогда не была столь острой. Но слегка извращенное смещение угла зрения скорее могло бы позволить нам оспаривать смыслы, как и другие формы власти и удовольствия, в технологически опосредованных обществах. Под одним углом зрения, мир киборгов – это окончательное зарешечивание планеты

глобальным контролем, окончательная абстракция, воплощенная в апокалипсисе Звездных войн, развязанном под предлогом обороны, окончательное присвоение женских тел в маскулинистской оргии войны. Под другим углом зрения, мир киборгов – это, возможно, живые социальные и телесные реальности, в которых люди не боятся своего двойного родства с животными и машинами, не боятся всегда частичных идентичностей и противоречивых точек зрения. Политическая борьба означает взгляд под обоими углами зрения сразу, потому что каждый раскрывает как господства, так и возможности, непредставимые с другой точки зрения. Унитарное зрение рождает худшие иллюзии, чем двойное зрение или многоголовые чудовища. Киборганические единства чудовищны и незаконны; в наших нынешних политических обстоятельствах мы едва ли могли надеяться на более сильные мифы для сопротивления и воссоединения. Мне нравится представлять себе Ливерморскую активистскую группу (ЛАГ) как род киборганического общества, специализирующегося на реалистической конверсии лабораторий, которые всего яростней воплощают собой и изрыгают орудия технологического апокалипсиса, и посвятившего себя построению политической формы, которой действительно удастся свести вместе ведьм, инженеров, старейшин, извращенков, христиан, матерей и ленинистов и удерживать их достаточно долго, чтобы разоружить государство. «Расщепление невозможно» – так называется группа притяжения в моем городке. (Притяжение: связь не по крови, но по выбору, тяга одной химической ядерной группы к другой, жажда.)

Надломленные идентичности

Теперь стало трудно наименовать чей-либо феминизм одним-единственным прилагательным или даже во всех обстоятельствах настаивать на существительном. Острое сознание исключения, вызываемого наименованием. Идентичности кажутся противоречивыми, частичными, стратегически выбранными. С непросто давшимся признанием их социальной и исторической обусловленности, пол, раса и класс не могут обеспечить фундамента для веры в «сущностное» единство. В том, чтобы быть «самкой», нет ничего, что естественно связывает женщин. Нет даже такого состояния, как «быть» самкой, оно само по себе в высшей степени сложная категория, выстраиваемая в полемичных сексуальных научных дискурсах и других социальных практиках.

Половое, расовое и классовое сознание – достижение, навязанное нам страшным историческим опытом противоречивых социальных реальностей патриархата, колониализма, расизма и капитализма. Кого считать за «нас» в моей собственной риторике?

Какие можно отыскать идентичности для обоснования столь сильного политического мифа, зовущегося «мы», и что может мотивировать зачисление в этот коллектив? Болезненная фрагментация среди феминисток (и тем более среди женщин) по всем мыслимым линиям надлома сдела-

ла понятие женщины неуловимым – хороший предлог для матрицы господства женщин друг над другом. Для меня – и для многих, кто разделяет со мной похожую историческую локализацию в белых, профессиональных, среднеклассовых, женских, радикальных, североамериканских, средневозрастных телах, – источников кризиса политической идентичности легион. Недавняя история значительной части американских левых и американского феминизма явилась ответом на подобного рода кризис в виде нескончаемых расколов и поисков нового сущностного единства. Но было и растущее признание иного ответа, в виде коалиции – притяжение взамен идентичности. Чела Сандовал, отталкиваясь от рассмотрения особых исторических моментов в формировании нового политического голоса, именуемого цветными женщинами, предложила многообещающую модель политической идентичности, зовущейся «опозиционным сознанием», рожденным навыками чтения паутин власти теми, кому отказано в постоянном членстве в социальных категориях пола, расы и класса. «Цветные женщины», имя, с самого начала оспариваемое теми, кого оно должно объединять, а также историческое сознание, отмечающее систематический разрыв со всеми знаками Мужчины в западных традициях, выстраивает род постмодернистской идентичности из инаковости, различия и особенности. Эта постмодернистская идентичность всецело политична, что бы ни говорилось о других возможных постмодернизмах. Оппозиционное сознание Сандовал – это противоречивые локализации и гетерохронические календари, а не релятивизмы и плюрализмы. Сандовал подчеркивает отсутствие какого-либо сущностного критерия для идентификации цветной женщины. Она замечает, что самоопределение группы было обусловлено сознательным усвоением отрицания. Например, чикана или черная американка до сих пор не имели возможности говорить в качестве женщины, лица с черной кожей или чикано. Таким образом, она оказывалась на самой нижней ступени каскада отрицательных идентичностей, исключенных даже из «привилегированных», авторизованных угнетенных категорий, именуемых «женщины и черные», которые заявляли о совершении важных революций. Категория «женщина» отрицала всех небелых женщин; категория «черный» отрицала всех нечерных людей, как и всех черных женщин. Но среди американских женщин, утвердивших свою историческую идентичность в качестве американских цветных женщин, не было также и «ее», никакой единичности, а целое море различий вместо этого. Эта идентичность очерчивает сознательно выстроенное пространство, которое не может утверждать свою способность действовать на основе естественной идентификации, а только на основе сознательной коалиции, притяжения, политического родства. В отличие от «женщины» некоторых направлений белого женского движения в Соединенных Штатах, здесь отсутствует натурализация матрицы, или по крайней мере, по словам Сандовал, такая уникальная возможность открыта перед

силой оппозиционного сознания. Аргументацию Сандовал следует рассматривать как единую мощную формулировку позиции феминисток, возникшую из мирового развития антиколониалистского дискурса, т.е. дискурса, которым растворяются Запад и его наивысший продукт: тот, кто не является животным, варваром или женщиной, – короче, мужчина, автор космоса, именуемого историей. По мере политической и семиотической деконструкции ориентализма дестабилизируются идентичности Запада, включая идентичности его феминисток. Как утверждает Сандовал, «цветные женщины» имеют шанс построить эффективное единство, которое не станет повторением империалистских, тотализирующих революционных субъектов предшествующих марксизмов и феминизмов, не сталкивавшихся с последствиями беспорядочной полифонии, рождающейся из деколонизации. Кэти Кинг акцентировала пределы идентификации и политическую/поэтическую механику идентификации, встроенную в прочтение «поэмы», этого порождающего ядра культурного феминизма. Кинг критикует стойкую тенденцию среди современных феминисток выстраивать на основании различных «моментов» или «разговоров» в феминистской практике таксономию женского движения, чтобы изобразить собственные политические тенденции телосом целого. Такие таксономии ведут к перекройке феминистской истории, представляя ее идеологической борьбой между устойчивыми, четко выраженными типами, особенно типичными подразделениями, именуемыми радикальным, либеральным и социалистическим феминизмом. Все прочие феминизмы в буквальном смысле поглощаются либо маргинализуются, обычно посредством построения какой-то эксплицитной онтологии и эпистемологии. Таксономии феминизма порождают эпистемологии для полицейского контроля за отклонениями от официального женского опыта. Конечно, «женская культура», как и цветные женщины, – сознательный продукт, произведенный механизмами создания притяжения. Ритуалам поэзии, музыки и некоторых форм академической практики отводилось ведущее место. Политики расы и культуры в американских женских движениях тесно переплетены между собой. Общее достижение Кинг и Сандовал – знание о том, как выстроить поэтическое/политическое единство, не полагаясь на логику присвоения, поглощения и таксономической идентификации. Теоретическая и практическая борьба против единства-через-господство или единства-через-поглощение ироническим образом не только подрывает оправдания для патриархата, колониализма, позитивизма, эссенциализма, сциентизма и прочих необжалованных «измов», но и все чаяния органической или естественной установки. Я думаю, что радикальные и социалистические/марксистские феминизмы также подорвали свои/наши собственные эпистемологические стратегии и что это важнейший по ценности шаг в деле воображения возможных будущих единств. Остается посмотреть, все ли вообще эпистемо-

логии, какими их знал западный политический человек, подведут нас в деле построения эффективных притяжений. Важно отметить, что усилия с целью выстроить революционные установки, эпистемологии как достижения людей посвятивших себя изменению мира, – были частью процесса, показывающего пределы идентификации. Едкие орудия постмодернистской теории и конструктивные орудия онтологического дискурса о революционных субъектах можно рассматривать как иронических союзников в деле разрушения западных самостей во имя выживания. Мы пронзительно явственно осознаем, что значит обладать исторически конституированным телом. Но с утратой невинности у нашего истока нет также и изгнания из Сада. Наша политика вместе с наивностью невинности теряет и возможность тешиться чувством вины. Но на что мог бы быть похож другой политический миф социалистического феминизма? Какая политика могла бы охватить частичные, противоречивые, всегда незамкнутые конструкции личностных и коллективных самостей и все же остаться адекватной, эффективной – и, по иронии, социалистически-феминистской?

Мне неизвестно, когда еще в истории испытывалась бы большая нужда в политическом единстве для эффективного противостояния господствам расы, пола, сексуальности и класса. Мне также неизвестно, когда еще тот тип единства, построению которого мы могли бы помочь, был бы более возможен. Никто из «нас» не обладает больше символической или материальной способностью предписывать облик реальности кому-либо из «них». Или по крайней мере «мы» не можем объявить свою невинность и непричастность к таковым господствам. Белые женщины, включая евроамериканских социалистических феминисток, открыли (т.е. с заламываньем рук и воплями принуждены были заметить) не-невинность категории «женщина». Это осознание меняет конфигурацию всех предшествующих категорий: оно денатурирует их, как тепло денатурирует хрупкий протеин. Киборганические феминистки должны заявить, что «мы» больше не хотим какой-либо еще естественной матрицы единства и что ни одна конструкция не бывает целой. Невинность и вытекающий отсюда акцент на жертвенности как единственной основы озарения уже достаточно навредили. Но и построенный революционный субъект должен оставить в покое людей конца XX в. В растрепывающихся идентичностях и рефлексивных стратегиях их построения открывается возможность выткать нечто непохожее на саван для утра после апокалипсиса, который столь пророчески завершает историю спасения. Но марксистские/социалистические феминизмы, как и радикальные феминизмы, разом натурализовали и денатурировали категорию «женщина» и сознание социальных жизней «женщин». Быть может, высветить ходы того и другого рода поможет схематическая карикатура. Марксистский социализм укоренен в анализе наемного труда, вскрывающего классовую структуру. Из отношений найма вытекает си-

стематическое отчуждение, поскольку рабочий отрывается от его [sic] продукта. Абстракция и иллюзия правят бал в познании; господство правит практикой. Труд – необычайно привилегированная категория, позволяющая марксисту преодолеть иллюзию и отыскать ту точку зрения, которая необходима для изменения мира. Труд – очеловечивающая деятельность, формирующая мужчину; труд – онтологическая категория, дающая знание субъекта, а значит, знание порабощения и отчуждения. С дочерней верностью социалистический феминизм выказывал приверженность основным аналитическим стратегиям этого марксизма. Главным достижением марксистских феминисток и феминисток социалистических явилось расширение категории труда с учетом того, что делали (некоторые) женщины, даже когда отношение найма подчинялось более емкому взгляду на труд в условиях капиталистического патриархата. В частности, женский труд в домашнем хозяйстве и деятельность женщин в качестве матерей, т.е. воспроизводство в социалистически-феминистском смысле, вошли в теорию на основании аналогии с марксистской концепцией труда. Здесь единство женщин опирается на эпистемологию, основанную на онтологической структуре «труда». Марксистский/социалистический феминизм не «натурализует» единство: это просто возможный результат, основанный на возможной установке, укорененной в социальных отношениях. Эссенциалистский уклон сказывается в онтологической структуре труда или его аналога, женской деятельности. Наследие марксистского гуманизма, с его подчеркиванием трудность, Посыл, шедший от этих формулировок, был акцентированием повседневной ответственности реальных женщин, обязанных скорее строить единства, а не натурализовать их. Радикальный феминизм, по версии Кэтрин Маккиннон, – сам по себе карикатура присваивающих, поглощающих, тотализующих тенденций западных теорий о действии как основе идентичности. Фактически и политически неверно возводить все разношерстные «моменты» или «разговоры» в новейшей женской политике, названной радикальным феминизмом, к версии Маккиннон. Однако телеологическая логика ее теории показывает, как эпистемология и онтология – включая их отрицания – стирают или ставят под контроль различие. Эффект теории Маккиннон только один – переписывание истории полиморфного поля, именуемого радикальным феминизмом. А главный эффект – выведение теории опыта, женской идентичности, которая знаменует собой апокалипсис для всех революционных установок. А именно, тотализация, встроенная в эту повесть о радикальном феминизме, достигает своего завершения – единства женщин – путем навязывания опыта и свидетельства радикального небытия. Как и для марксистской/социалистической феминистки, сознание есть достижение, а не естественный факт. Теория Маккиннон устраняет ряд трудностей, вмонтированных в гуманистические революционные субъекты, однако делается это ценой

радикального редуционизма. Маккиннон утверждает, что феминизм с необходимостью принял отличную от марксизма аналитическую стратегию, делая упор не столько на структуру класса, сколько на структуру пола/гендера и его порождающего отношения, мужскую конституцию и сексуальную апроприацию женщин. По иронии, маккинновская «онтология» выстраивает несуществующего субъекта, несуществующую сущность. Желание другого, а не свой собственный труд – вот начало «женщины». Отсюда она развивает теорию сознания, навязывающую то, что может считаться опытом «женщин», – все, что именуется сексуальным насилием, да и сам секс как таковой, поскольку он соотносится с «женщинами». Практика феминизма есть выстраивание этой формы сознания, т.е. самопознание несуществующей самости. По извращенной логике этого феминизма, сексуальное присвоение все еще имеет в нем эпистемологический статус труда, т.е. отправной точки для анализа, способного помочь изменить мир. Но из структуры пола/гендера вытекает сексуальное опредмечивание, а не отчуждение. В сфере познания результат сексуального опредмечивания – иллюзия и абстракция. При этом женщина не просто отчуждается от своего продукта, но по сути она вовсе не существует как субъект или даже потенциальный субъект, поскольку своим существованием как женщины она обязана сексуальному присвоению. Конституироваться желанием другого – не то же самое, что отчуждаться в процессе насильственного отрыва трудящегося от произведенного им продукта. Маккинновской радикальной теории опыта свойственна предельная тотализация: она не просто маргинализует, но совершенно отменяет авторитет любой другой женской политической речи и практики. Эта тотализация производит то, что никогда не удавалось сформировать самому западному патриархату, – феминистское сознание небытия женщин иначе, как продуктов мужского желания. Я полагаю, Маккиннон верно отмечает, что никакая марксистская версия идентичности не может твердо обосновать женское единство. Но при решении проблемы противоречий любого западного революционного субъекта с точки зрения феминистских целей она развивает еще более авторитарную доктрину опыта.

Если мое неприятие социалистических/марксистских установок вызвано их ненамеренным стиранием многоголосого, неассимилируемого, радикального различия, проявившегося в антиколониальных дискурсе и практике, то намеренное стирание Маккиннон всех различий избранием «существенного» небытия женщин тем более не вызывает энтузиазма. Согласно моей таксономии, которая, как и всякая таксономия, есть переписывание истории, радикальный феминизм может охватить все виды деятельности женщин, обозначенные социалистическими феминистками как формы труда, только если данная деятельность может быть так или иначе сексуально окрашена. Воспроизводство имело различные оттенки смысла для двух тенденций – одна коренилась в труде, другая в

сексе, и обе называли последствия господства и незнания социальной и личной реальности «ложным сознанием». Помимо трудностей и здравых моментов в аргументации каждого из авторов, ни марксистская, ни радикально-феминистская позиции не выказали стремления принять во внимание статус частичного объяснения: обе, как правило, строились в виде тотальностей. Западное объяснение этого и требовало; как иначе западный автор мог инкорпорировать своих других? Каждый пытался аннексировать другие формы господства путем распространения своих основных категорий с помощью аналогии, простого перечисления или сложения. Одним из главных, сокрушительных политических следствий явилось смущенное молчание по расовой проблеме белых радикалов и социалистических феминисток. История и многоголосие теряются в политических таксономиях, стремящихся выстроить генеалогии. В теории, претендующей на раскрытие строения категории «женщина» и социальной группы «женщины» как единого или тотализуемого целого, не оставалось структурного места для расы (как и для многого другого).

Вот как выглядит структура моей карикатуры:
Социалистический феминизм – структура класса//наемного труда//отчуждения труд, по аналогии воспроизводство, расширительно пол, в сложении раса
Радикальный феминизм – структура гендера//сексуальное присвоение//опредмечивание пол, по аналогии труд, расширительно воспроизводство, в сложении раса

В другом контексте французская исследовательница Юлия Кристева заявила, что женщины как историческая группа впервые появились лишь после Второй мировой войны, наряду с такой группой, как молодежь. Ее датировки сомнительны, но сегодня мы приучены помнить, что в качестве объектов познания и исторических актеров «раса» существовала не испокон веков, «класс» имеет исторический генезис, а «гомосексуалы» появились на сцене совсем недавно. Не случайно, что символическая система семьи мужчины – а значит, и сущность женщины – ломается как раз в тот момент, когда сети межчеловеческой коммуникации на планете становятся беспрецедентно множественными, чреватými последствиями и сложными. Термин «развитый капитализм» не годится для передачи структуры этого исторического момента. Конец мужчины, в западном смысле, оказывается поставленным на кон. Таким образом, в наше время женщина дезинтегрируется в женщин. Возможно, социалистические феминистки не так уж повинны в создании эссенциалистской теории, подавлявшей особенность и противоречивые интересы женщин. Думаю, мы были виновны по крайней мере в силу безоглядного приобщения к логикам, языкам и практикам белого гуманизма и в силу поиска какой-то единственной основы господства для обеспечения нашего революционного голоса. Теперь у нас меньше извинений. Но в сознании наших ошибок мы

Информатика господства

рискуем потеряться в безграничном различии и отказаться от затруднительной задачи налаживания частичной, реальной связи. Некоторые различия имеют игровой характер; некоторые – полюса мировых исторических систем господства. Эпистемология – это познание различия.

В этой попытке представить эпистемологическую и политическую позицию мне хотелось бы набросать картину возможного единства, картину, обязанную социалистическим и феминистским принципам построения. Рамка для моего наброска установлена размахом и важностью переустройств в социальных отношениях во всем мире, связанных с наукой и технологией. Я выступаю за политику, опирающуюся на надежды коренных перемен в природе класса, расы и гендера в рождающейся системе мирового устройства, которое по своим масштабам и новизне аналогично созданному промышленным капитализмом; мы переживаем движение от органического индустриального общества к полиморфной информационной системе – от тотальной работы к тотальной игре, причем смертельно

Одновременно материальные и идеологические дихотомии могут быть выражены в нижеследующей схеме переходов от уютных старых иерархических господств к пугающим новым сетям, которые я назвала информатикой господства:

Репрезентация	Симуляция
Буржуазный роман, реализм	Научная фантастика, постмодернизм
Организм	Биотический компонент
Глубина, целостность	Поверхность, граница
Тепло	Шум
Биология как клиническая практика	Биология как запись
Физиология	Коммуникационная инженерия
Малая группа	Подсистема
Совершенство	Оптимизация
Евгеника	Контроль населения
Декадентство, «Волшебная гора»	Забывчивость, «Будущий шок»
Гигиена	Стрессовое управление
Микробиология, туберкулез	Иммунология, СПИД
Органическое разделение труда	Эргономика/кибернетика труда
Функциональная специализация	Модульное конструирование
Репродукция	Репликация
Органическая специализация по сексуальной роли	Оптимальные генетические стратегии
Биологический детерминизм	Эволюционная инерция, ограничения
Общинная экология	Экосистема
Расовая цель бытия	Неоимпериализм, гуманизм ООН
Научное управление домом/фабрикой	Глобальная фабрика/электронный коттедж
Семья/рынок/фабрика	Женщины в интегральной схеме
Семейный подряд	Сравнительная ценность работника
Публичное/частное	Киборгическое гражданство
Природа/культура	Поля различия
Кооперация	Улучшение коммуникаций
Фрейд	Лакан
Секс	Генная инженерия
Труд	Робототехника
Дух	Искусственный интеллект
Вторая мировая война	Звездные войны
Патриархат белого капитализма	Информатика господства

опасной.

Этот перечень подразумевает несколько интересных вещей. Во-первых, объекты по правую сторону не могут кодироваться как «натуральные», и осознание этого подрывает натуралистическую кодировку также и для левой колонки. Мы не можем идти вспять ни идеологически, ни материально. И дело не только в том, что «бог» умер – умерла и «богиня». Или же тот и другая реанимированы в мирах, заряженных микроэлектронной и биотехнологической политиками. Относительно объектов, подобных биотическим компонентам, следует думать не в терминах сущностных свойств, а в терминах конструкции, предельных ограничений, потоковых уровней, системной логики, затрат на снижение ограничений. Сексуальное воспроизводство – один вид репродуктивной стратегии среди многих, с затратами и преимуществами, зависящими от системного окружения. Идеологии сексуального воспроизводства больше не имеют разумных оснований для взывания к понятиям пола и половой роли как органических аспектам естественных объектов вроде организмов и семей. Подобное рассуждение будет разоблачено как иррациональное, и, по иронии, корпоративный служащий, читающий «Плейбой», и радикальная феминистка, ратующая против порнографии, вместе могут составить странную парочку, общими усилиями разоблачая иррационализм. То же и в отношении расы: расистские и антирасистские идеологии о несходстве людей должны формулироваться в терминах частоты параметров. «Иррационально» ссылаться на такие понятия, как «первобытный» и «цивилизированный». Для либералов и радикалов поиск интегрированных социальных систем уступает место новой практике, зовущейся «экспериментальной этнографией», в которой органический объект полностью растворяется, поскольку внимание сосредоточивается на игре письма. На уровне идеологии мы наблюдаем переводы расизма и колониализма на языки развитости и недоразвитости, темпов и ограничений модернизации. О любых вещах или лицах «разумно» мыслить в терминах разборки и новой сборки: никакие «естественные» архитектуры не накладывают ограничений на конструкцию системы. Финансовые округа во всех городах мира, так же как зоны экспортно-ориентированной экономики и свободной торговли, громко заявляют об этом элементарном факте «позднего капитализма». Весь универсум вещей, доступных научному познанию, должен быть сформулирован в виде проблем коммуникационной инженерии (для менеджеров) или теорий текста (для тех, кто предпочитает сопротивляться). То и другое – киборганические семиологии. Можно ожидать, что контрольные стратегии сосредоточатся на пограничных условиях и интерфейсах, на уровнях потоков, пересекающих границы, а не на целостности натуральных объектов. «Целостность» или «честность» западной самости уступает место процедурам принятия решений и экспертным системам. Например, контрольные стратегии приме-

нительно к способностям женщин давать жизнь новым человеческим существам будут развиты в языки контроля за народонаселением и максимизации достижений индивидуальных экспертов по принятию решений. Контрольные стратегии будут сформулированы в терминах темпов, амортизационных затрат, степеней свободы. Человеческие существа, как и любой другой компонент или подсистема, должны локализоваться внутри системной архитектуры, основные модусы действия которой имеют вероятностный, статистический характер. Никакие объекты, пространства или тела не являются священными сами по себе; любой компонент может быть связан интерфейсом с любым другим, если только может быть построен соответствующий стандарт, соответствующий код для обработки сигналов на каком-то общем языке. В этом мире обмен далеко превосходит универсальный перевод, произведенный капиталистическими рынками, который так хорошо проанализировал Маркс. Привилегированная патология, затрагивающая все виды компонентов в этой вселенной, – это стресс, коммуникационная катастрофа». Киборг не подвержен биополитике Фуко; киборг симулирует политику, и это гораздо более мощное операционное поле. Дискурсивные конструкции – не шутка. Такого рода анализ научных и культурных объектов познания, исторически появившийся после Второй мировой войны, готовит нас к обнаружению ряда важных несоответствий в феминистском анализе, который развивался так, как если бы все еще оставался в силе органический, иерархический, предписывающий дуализм дискурс Запада со времен Аристотеля. Они подверглись каннибализации, или, как могла бы выразиться Зоя София (Софулис), оказались «переварены технологией». Дихотомии духа и тела, животного и человеческого, организма и машины, публичного и частного, природы и культуры, мужчин и женщин, первобытного и цивилизованного – все идеологически оказались под вопросом. Настоящее положение женщин – это их интеграция/эксплуатация в мировую систему производства/воспроизводства и коммуникации, названную информативной ареной, само тело – все может быть распылено и связано интерфейсом практически бесконечными, полиморфными способами, с далеко идущими последствиями для женщин и всех остальных, последствиями, которые сами по себе очень различны для различных людей и которые делают сильные оппозиционные международные движения труднопредставимыми и необходимыми для выживания. Один из важных путей для реконструкции социалистически-феминистской политики начинается с теории и практики, относящихся к социальным отношениям науки и технологии, включая прежде всего системы мифа и смыслов, структурирующие наше воображение. Киборг есть род разобранной и снова собранной постсовременной коллективной и личной самости. Именно эту самость должны кодировать феминистки. Коммуникационные технологии и

003

биотехнологии – вот ключевые орудия, переделывающие наши тела. Эти орудия претворяют и навязывают новые социальные отношения для женщин во всем мире. Технологии и научные дискурсы могут отчасти пониматься как формализации, т.е. застывшие моменты, текучих социальных взаимодействий, их конституирующих, но вместе с тем они должны рассматриваться и как инструменты для навязывания смыслов. Граница между орудием и мифом, инструментом и понятием, историческими системами социальных отношений и историческими анатомиями возможных тел, включая объекты познания, легко проницаема. Вообще миф и орудие взаимно конституируют друга друга. Более того, коммуникационные науки и современные биологии выстраиваются в результате общего движения – вовлечения мира в проблему кодировки, поиск общего языка, в котором исчезает всякое сопротивление инструментальному контролю и любая гетерогенность может быть подвержена разборке, сборке, загрузке и обмену. В коммуникационных науках вовлечение мира в проблему кодировки можно проиллюстрировать, рассмотрев теории кибернетических (контролируемых обратной связью) систем применительно к телефонной технологии, конструкции компьютеров, развертыванию вооружений или построению и эксплуатации баз данных. Во всех случаях решение ключевых вопросов опирается на теорию языка и контроля; ключевая операция – определение темпов, направлений и вероятностей потока количества, именуемого информацией. Мир перерезан сеткой границ, в той или иной степени проницаемых для информации. Информация – это просто количественно определяемый элемент (единица, основа единицы), делающий возможным всеобщий перевод, а значит, и неограниченную инструментальную силу (называемую эффективной коммуникацией). Величайшая угроза для этой силы – разрыв коммуникации. Всякий системный срыв – функция стресса. Основы основ этой технологии можно сжато представить метафорой C³I (команда–контроль–коммуникация–информация), символом теории военной машины. В современных биологиях перевод мира в проблему кодировки можно проиллюстрировать молекулярной генетикой, экологией, социобиологической эволюционной теорией и иммунобиологией. Организм оказался переведен в проблемы генетической кодировки и вычитки. Биотехнология – технология письма – в значительной степени задает тон исследованию. В каком-то смысле организмы перестали существовать как объекты познания, уступив место биотическим компонентам, т.е. специальным устройствам для обработки информации. Аналогичные ходы в экологии можно проследить, обратив более пристальное внимание на историю и пользу понятия экосистемы. Иммунобиология и связанные с нею медицинские практики – выдающиеся примеры привилегированности систем кодирования и распознавания как объектов познания, как конструкций для нас телесной реальности. Биология здесь предстает разновидностью

криптографии. Исследование с необходимостью оказывается сбором информации, своего рода разведывательной деятельностью. Иронии больше чем достаточно. Система под стрессом начинает вести себя странно; ее коммуникационные процессы нарушаются; она неспособна распознавать различие между собой и другим. Человеческие детиныши с сердцами бабуинов вызывают всенародную этическую озабоченность – у борцов за права животных по крайней мере такую же, как и у блюстителей чистоты человечества. В Соединенных Штатах гомосексуалы и наркоманы на игле – наиболее «привилегированные» жертвы ужасного заболевания иммунной системы, отмечающей (записывающей в теле) размывание границ и моральное загрязнение. Но эти экскурсы в теории коммуникаций и биологию оставались на уровне разреженных абстракций: есть и более приземленная, в основном экономическая реальность, способная подкрепить мое утверждение, что эти науки и технологии знаменуют для нас фундаментальные трансформации в структуре мира. Коммуникационные технологии зависят от электроники. Современные государства, мультинациональные корпорации, военная сила, бюрократические аппараты, спутниковые системы, политические процессы, обработка нашего воображения, система трудового контроля, медицинское конструирование наших тел, коммерческая порнография, международное разделение труда, религиозный евангелизм – все это глубоко зависит от электроники. Микроэлектроника – техническая основа симулякров, т.е. копий без оригиналов. Микроэлектроника опосредует переводы труда в робототехнику и обработку текстов, пола в генетическую инженерию и репродуктивные технологии и духа – в искусственный интеллект и процедуры принятия решений. Новые биотехнологии затрагивают больше, чем человеческое воспроизводство. Биология, как мощная инженерная наука для переконструирования материалов и процессов, чревата революционными последствиями для промышленности – сегодня это, вероятно, очевидней всего сказывается в сельском хозяйстве, использовании ферментов и энергетических компонентов. Коммуникационные науки и биология – это построение природно-технических объектов познания, в которых различие между машиной и организмом тщательно смазано; дух, тело и орудие теснейшим образом взаимосвязаны. «Мультинациональная» материальная организация производства и воспроизводства повседневной жизни и символическая организация производства и воспроизводства культуры и воображения, очевидно, подразумеваются в равной степени. Охраняющие границу образы базиса и надстройки, публичного и частного или материального и идеального никогда не казались такими слабыми. Я использовала принадлежащий Рэчел Гроссман образ женщины в интегральной схеме для описания положения женщин в мире, столь глубоко перестроенном социальными отношениями науки и технологии. Я пользуюсь странным выражением «социальные отношения науки

и технологии» для указания на то, что не с технологическим детерминизмом мы имеем дело, а с некоторой исторической системой, зависящей от структурированных отношений между людьми. Но это выражение должно указывать и на то, что наука и технология предоставляют новые источники силы, что мы нуждаемся в новых источниках анализа и политического действия. Некоторые перестройки расы, пола и класса, укорененные в социальных отношениях, пронизанных высокой технологией, могут сделать социалистический феминизм более способным для осуществления действенной прогрессивной политики. Экономика домашней работы «Новая промышленная революция» порождает новый мировой рабочий класс, так же как новые сексуальности и этничности. Предельная мобильность капитала и формирующееся международное разделение труда тесно переплетены с появлением новых коллективностей и ослаблением привычных группировок. Эти тенденции не являются нейтральными ни в гендерном, ни в расовом отношении. Белые мужчины в развитых индустриальных обществах вновь ощутили себя уязвимыми от постоянной угрозы потерять работу, в то время как женщины не пропадают из списков требующихся работников с такими же темпами, как мужчины. Дело не просто в том, что в странах «третьего мира» женщины являются предпочтительной рабочей силой для наукоемких мультинациональных корпораций в ориентированных на экспорт секторах, особенно в электронике. На самом деле картина носит более системный характер, охватывая воспроизводство, сексуальность, культуру, потребление и производство. Типичный пример Силиконовой долины показывает, что жизни многих женщин были структурированы вокруг занятости в сфере электронной промышленности, а их личные реальности включают серийную гетеросексуальную моногамию, заботу о воспитании ребенка, отстранение от дальних родственников и большинства других форм традиционной жизни в общине, высокую вероятность одиночества и крайнюю экономическую уязвимость по мере старения. Этническая и расовая разнородность женщин Силиконовой долины структурирует микрокосм конфликтующих различий в культуре, семейном положении, религии, образовании и языке. Ричард Гордон назвал эту новую ситуацию экономикой домашней работы. Хотя он включает сюда феномен в буквальном смысле надомной работы, возникающий в связи с электронной сборкой, Гордон хочет обозначить термином «экономика домашней работы» весь процесс реструктурирования труда, перенимающего многие характеристики, прежде связывавшиеся с женскими профессиями, с работами, в буквальном смысле выполнявшимися только женщинами. Работа переопределяется как женская и феминизированная, даже если она выполняется мужчинами. Быть феминизированной – означает сделаться предельно уязвимой; вы можете быть разобранной, снова собранной, эксплуатируемой в качестве резервной рабочей силы; вас считают не рабочими, а

скорее сервомеханизмами; на вас взваливают сверхурочные в рабочее время и вне работы, превращающие ограниченный рабочий день в насмешку; вы ведете существование, неизменно граничащее с непристойностью, неуместное и легко сводимое к сексу. Депрофессионализация – старая стратегия, вновь применимая к некогда привилегированным рабочим. Однако экономика домашней работы относится не только к широкомасштабной депрофессионализации и не отрицает появления новых областей, требующих высокого профессионализма, даже для тех женщин и мужчин, для которых профессиональная занятость прежде была недоступна. Скорее, это понятие указывает на то, что фабрика, дом и рынок интегрируются на новом уровне и что места женщин имеют ключевое значение, и требует анализа на предмет выявления различий между женщинами и смыслов отношений между мужчинами и женщинами в различных ситуациях. Экономика домашней работы как мировая капиталистическая-организационная структура становится возможной благодаря новым технологиям (но не обусловлена ими). Успех атаки на сравнительно привилегированные профессии, большей частью резервированные за белыми мужчинами и охранявшиеся профсоюзами, связан со способностью новых коммуникационных технологий интегрировать и контролировать труд, несмотря на экстенсивное распыление и децентрализацию. Последствия новых технологий ощущаются женщинами и как утрата семейного (мужского) подряда (если они когда-либо имели доступ к этой привилегии белых), и в характере их собственной работы, которая становится капиталоемкой, например работа в конторе и уход за детьми. Новые экономические и технологические схемы также имеют отношение к коллапсу государства всеобщего благоденствия и вызванной этим интенсификации требований, предъявляемых к женщинам для поддержания повседневной жизни как их самих, так и мужчин, детей и престарелых. Феминизация бедности – порожденная крушением государства всеобщего благоденствия, экономикой домашней работы, где стабильная занятость становится чем-то исключительным, и подпитываемая ожиданием, что мужскому доходу не сравняться с заработком женщин, уходящим на детей, – поставлена во главу угла. Причины появления семей, возглавляемых женщинами, варьируются в зависимости от расы, класса и сексуальности; но их всевозрастающая распространенность – основа для коалиций между женщинами по множеству вопросов. То, что женщины, как правило, поддерживают повседневную жизнь семьи отчасти в силу их вынужденного статуса матерей, едва ли ново; своеобразная интеграция с откровенно капиталистической и все более военно-ориентированной экономикой – вот новость. Например, американские чернокожие женщины, добившиеся освобождения от (едва) оплачиваемого домашнего рабства и ныне в больших количествах занявшие должности служащих и клерков, чувствуют давление, имеющее немалые последствия для продолжающейся вынужденной бедности среди

безработных чернокожих. Женщины-тинейджеры в индустриализирующихся районах «третьего мира» все чаще ощущают себя единственным или основным источником заработка для своих семей, в то время как доступ к земле становится все более проблематичным. Эти тенденции должны иметь решающие последствия для психодинамики и политики гендера и расы. Придерживаясь нарративной рамки трех основных стадий капитализма (торговый/раннеиндустриальный, монополистический, мультинациональный), связанной с трицей национализма, империализма и мультинационализма и соотносящейся с джеймсоновскими тремя господствующими эстетическими периодами реализма, модернизма и постмодернизма, я бы отметила, что специфические формы семей диалектически соотносятся с формами капитала и его политических и культурных атрибутов. Проблематично и неравно представленные в реальной жизни, идеальные формы этих семей можно схематично изобразить следующим образом: 1) патриархальная ядерная семья, структурированная дихотомией публичного и частного и сопутствующая белой буржуазной идеологией отдельных сфер и англоамериканским феминизмом XIX в.; 2) современная семья, опосредуемая (или вынуждаемая) государством всеобщего благоденствия и институтами вроде семейного подряда, с расцветом афеминистских гетеросексуальных идеологий, включая их радикальные версии, представленные в Гринич-Виллидж во времена Первой мировой войны; 3) «семья» экономики домашней работы, с ее оксюморонной структурой женщины – главы семейства, с ее взрывами феминизма и парадоксальной интенсификацией и эрозией самого гендера. Таков контекст, в котором проекции мировор структурной безработицы, порождаемой новыми технологиями, оказываются частью картины экономики домашней работы. По мере того как робототехника и родственные технологии лишают мужчин работы в «развитых» странах и усугубляют обреченность попыток создать рабочие места для мужчин в процессе «развития» «третьего мира» и в то время как автоматизированный офис становится правилом даже в странах с избытком рабочей силы, все больше интенсифицируется феминизация труда. Чернокожие женщины в Соединенных Штатах давно узнали, что реально означает структурная безработица («феминизация») чернокожих мужчин, как и их собственная в высшей степени уязвимая позиция в наемной экономике. Больше не секрет, что сексуальность, воспроизводство, семья и общественная жизнь переплетаются с этой экономической структурой мириадами нитей, которые также дифференцировали ситуации белых и черных женщин. Еще многим женщинам и мужчинам придется столкнуться с похожими ситуациями, что сделает кросс гендерные и расовые альянсы по вопросам элементарного поддержания жизни (с работой или без) необходимыми, а не просто желательными. Новые технологии также оказывают глубокое воздействие на проблему голода и производства пищи

для глобального пропитания. По оценке, которую дает Рэй Лессор Блумберг, женщины производят около 50 процентов пищи в мировом масштабе. Женщинам, как правило, не удастся ощутить преимущества возросшей высокотехнологичной товаризации пищи и энергетических культур, их повседневные заботы сделались еще тягостней, поскольку не уменьшается их ответственность по обеспечению пищей и их репродуктивные ситуации сделались еще сложней. Технологии «зеленой революции» взаимодействуют с другими высокотехнологичными промышленными производствами в плане изменения гендерных разделений труда и дифференциальных гендерных миграционных моделей. Новые технологии, по-видимому, тесно повязаны с теми формами «приватизации», проанализированными Роз Печески, в которых синергистически взаимодействуют милитаризация, правые семейные идеологии и схемы и углубленные определения корпоративной (и государственной) собственности как частной.

Новые коммуникационные технологии служат фундаментом для упразднения «публичной жизни» для всех и каждого. Это способствует грибковому разрастанию перманентного высокотехнологичного военного истеблишмента за культурный и экономический счет большинства людей, но особенно женщин. Такие технологии, как видеоигры и сверхминиатюрное телевидение, очевидно играют ключевую роль в производстве современных форм «частной жизни». Культура видеоигр жестко ориентирована на индивидуальное соперничество и внеземные военные действия. Здесь производятся высокотехнологичные, гендерные воображения – воображения, способные созерцать разрушение целой планеты и наслаждаться научно-фантастическим бегством от последствий катастрофы. Милитаризация затрагивает не только наше воображение, неизбежны и иные реальности электронной и ядерной войны. Это технологии, обещающие предельную мобильность и совершенный обмен, и между делом позволяющие туризму, этой наилучшей практике мобильности и обмена, вырасти в одну из крупнейших отраслей мировой экономики. Новые технологии воздействуют на социальные отношения сексуальности и воспроизводства – не всегда одинаковым образом. Тесная взаимосвязь сексуальности и инструментальности, взглядов на тело как на своего рода частную машину по максимизации удовлетворения и пользы, хорошо описывается в социобиологических историях происхождения, делающих упор на генетический расчет и объясняющих неизбежную диалектику господства мужской и женской гендерных ролей. Эти социобиологические истории находятся в зависимости от характерного для эры высоких технологий взгляда на тело как на биотический компонент или кибернетическую коммуникационную систему. Среди множества трансформаций репродуктивных ситуаций – медицинская, в которой женские тела имеют ряд границ, ставших с недавних пор проницаемыми для «визуализации» и «вмешательства». Конечно, вопрос о

том, кто контролирует интерпретацию телесных границ в медицинской герменевтике, – важнейшая феминистская проблема. Медицинское зеркало служило символом борьбы женщин за свои тела в 1970–е гг.; но этот самодельный инструмент не подходит для выражения необходимой нам политики тела при столкновении с реальностью в практиках киборганической репродукции. Самопомощи недостаточно. Технологии визуализации напоминают важную культурную практику охоты с камерой и глубоко хищническую природу фотографического сознания. Пол, сексуальность и воспроизводство – центральные актеры в высокотехнологичных мифосистемах, структурирующих наши воображения личной и социальной возможности.

Другой критический аспект социальных отношений новых технологий – переформулировка ожиданий, культуры, труда и воспроизводства для крупных контингентов научной и технической рабочей силы. Главная социальная и политическая опасность – формирование строго бимодальной социальной структуры, при которой массы женщин и мужчин всех этнических групп, но особенно цветные, связаны экономикой домашней работы, безграмотностью нескольких разновидностей, общей избыточностью и бессилием, находясь под контролем высокотехнологичных репрессивных аппаратов в самых разных сферах – от развлечений до надзора и подавления. Адекватная социалистически–феминистская политика должна адресоваться женщинам привилегированных профессиональных категорий, особенно в сфере производства науки и технологии, выстраивающей научно–технический дискурс, процессы и объекты. Этот вопрос – лишь один из аспектов исследования возможности феминистской науки, но он важен. Какого рода конституирующую роль в производстве знания, воображения и практики могут иметь новые группы, делающие науку? Как эти группы могут быть привлечены к союзу с прогрессивными социальными и политическими движениями? Какую политическую отчетность можно выстроить для связи женщин через научно–технические иерархии, нас разделяющие? Есть ли пути развития феминистской политики в области науки/технологии в союзе с антивоенными группами, выступающими за конверсию научных предприятий? Многие научные и технические работники Силиконовой долины, включая хайтек–ковбоев, не хотят работать на военную науку. Могут ли эти личные предпочтения и культурные тенденции быть соединены в прогрессивную политику этого среднего класса профессионалов, среди которых женщин, включая цветных, становится довольно–таки много? Женщины в интегральной схеме Позвольте завершить картину исторических позиций женщин в развитых индустриальных обществах, поскольку эти позиции оказались отчасти реструктурированы социальными отношениями науки и технологии. Если когда–либо и было возможно характеризовать жизни женщин разграничением публичной и частной сфер – это подсказывают

образы разделения жизни рабочего на фабрику и дом, буржуазной жизни – на рынок и дом, наконец, гендерного существования – на личную и политическую области, – сегодня это абсолютно ошибочная идеология, не годная даже для того, чтобы показать, как два термина этих дихотомий выстраивают друг друга на практике и в теории. Я предпочитаю идеологический образ сети, подсказывающий обилие пространств и идентичностей и проницаемость границ в личном теле и политике тела. «Создание сетей» – это феминистская практика и вместе с тем стратегия мультинациональных корпораций. Плетение – дело оппозиционных киборгов. Итак, позвольте вернуться к упомянутому ранее образу информатики господства и проследить одно понимание «места» женщин в интегральной схеме, затрагивая лишь несколько идеализированных социальных позиций, рассмотренных главным образом с точки зрения развитых капиталистических обществ: Дом, Рынок, Рабочее место, Государство, Школа, Клиника-Больница и Церковь. Каждое из этих идеализированных пространств логически и практически имплицировано в любом другом локусе, на манер голографической фотографии. Я хочу обратить внимание на силу воздействия социальных отношений, опосредуемых и насаждаемых новыми технологиями, чтобы помочь сформулировать необходимый анализ и направления практической работы. Однако в этих сетях для женщин нет «места» – есть лишь геометрии различия и решающих противоречий для киборганических идентичностей женщин. Если мы научимся читать эти паутины власти и социальной жизни, мы сможем узнать новых партнеров, новые коалиции. Нет никакого смысла читать нижеследующий список с точки зрения «идентификации», унитарной самости. Проблема – распыление. Задача – выживание в диаспоре. Дом. Семья с женщиной во главе, серийная моногамия, бегство мужчин, одиночество старых женщин, технология работы по дому, оплачиваемая надомная работа, возрождение надомных потогонных предприятий, бизнес и телекоммуникация из дома, электронный коттедж, городская бездомность, миграция, модульная архитектура, навязываемая (симулируемая) нуклеарная семья, интенсивное домашнее насилие. Рынок. Продолжающаяся потребительская работа женщин, с недавних пор ориентированная на покупку огромного количества новой продукции, предлагаемой новыми технологиями (особенно по мере того как конкуренция промышленно развитых и развивающихся наций за отведение угрозы массовой безработицы делает необходимым отыскание все более крупных новых рынков для сбыта все менее явно необходимых товаров); бимодальная покупательная сила в сочетании с рекламой, ориентированной на многочисленные обеспеченные группы и пренебрегающей массовыми рынками прошлого; растущее значение неформальных рынков труда и товаров, параллельных высокотехнологичным, обеспеченным рыночным структурам; системы надзора, работающие благодаря электронной

форме денежных переводов; усилившаяся рыночная абстрагированность (отоваривание) опыта, ведущая к неэффективным утопическим или равнозначным циничным теориям общества; предельная мобильность (абстрагированность) рыночных/финансовых систем; взаимопроникновение рынка сексуальных услуг и рынка труда; усилившаяся сексуализация абстрагированного и отчужденного потребления. Рабочее место. Остающееся в силе интенсивное разделение труда по половому и расовому признакам, но при этом значительный прирост членства в привилегированных профессиональных категориях для многих белых женщин и цветных; влияние новых технологий на работу женщин в конторском деле, сфере обслуживания, на производстве (особенно текстильном), в сельском хозяйстве, электронной промышленности; международная реструктуризация рабочего класса; развитие новых переменных тарифов для обеспечения экономики домашней работы (гибкий график, частичная занятость, сверхурочные, свободный график); домашняя работа и работа вне дома; усилившееся давление на двухуровневые структуры найма; значительные массы людей во всем мире, зависящие от наличных денег, без какого-либо опыта и надежды на стабильную занятость; труд большей частью «маргинален» или «феминизирован». Государство. Продолжающаяся эрозия государства всеобщего благоденствия; децентрализация вкупе с усилением надзора и контроля; телематическое гражданство; империализм и политическая власть в целом оформляются дифференциацией информационного богатства/бедности; усилившаяся высокотехнологичная милитаризация, встречающая все более сильное сопротивление многих социальных групп; сокращение штата гражданских служб в результате растущей капиталобеспеченности офисной работы с важными последствиями для профессиональной мобильности цветных женщин; растущая приватизация материальной и идеологической жизни и культуры; тесная интеграция приватизации и милитаризации, высокотехнологичные формы буржуазной капиталистической личной и публичной жизни; невидимость различных социальных групп друг для друга, связанная с психологическими механизмами веры в абстрактных врагов. Школа. Углубляющаяся взаимозависимость высокотехнологичных финансовых потребностей и публичного образования на всех уровнях, дифференцированного по расовым, классовым и гендерным признакам; управленческие классы, вовлеченные в реформу образования и его финансирования за счет остающихся за бортом прогрессивных образовательных демократических структур для детей и учителей; игнорирование и подавление массового образования в технократической и милитаризованной культуре; рост антинаучных мистических культур в диссидентских и радикальных политических движениях; остающаяся относительная научная безграмотность среди белых женщин и цветных; растущая индустриальная направленность образования (особенно высшего образова-

ния) под влиянием научно-ориентированных мультинациональных корпораций (особенно компаний, работающих в сфере электроники и биотехнологии); высокообразованные, многочисленные элиты во все более бимодальном обществе. Клиника-Больница. Интенсификация отношений машины-тела; пересмотр общественных метафор, передающих личностный опыт тела, особенно в связи с репродукцией, функциям иммунной системы и «стрессовым» явлениям; интенсификация репродуктивной политики в ответ на глобальные исторические импликации нереализованного, потенциального контролирования женщинами своего отношения к репродукции; появление новых исторически беспрецедентных болезней; борьба за смыслы и средства здоровья в окружениях, заполненных высокотехнологичными продуктами и процессами; продолжающаяся феминизация работы в медицинской сфере; усилившаяся борьба за ответственность государства за здоровье; неувядающая идеологическая роль народных движений за здоровье как важнейшая форма американской политики. Церковь. «Суперспасительные» проповедники электронного фундаментализма, прославляющие союз электронного капитала и автоматизированных фетишистских богов; усиление роли церквей в сопротивлении милитаризованному государству; центральная борьба за смыслы и авторитет женщин в религии; неувядающая роль духовности, переплетенной с сексом и здоровьем, в политической борьбе. Единственный способ охарактеризовать информатику господства – описать ее как массивную интенсификацию незащищенности и культурного обнищания при общей неспособности благотворительных сетей помочь наиболее уязвимым. Поскольку многое в этой картине переплетается с социальными отношениями науки и технологии, становится явной настоятельностью социалистически-феминистской политики, адресованной науке и технологии. Сегодня многое уже делается, и почва для политической работы богатая. Например, усилия разработать формы коллективной борьбы для работающих женщин, такие, как Округ 925 SEIU (Service Employees International Union: Международный профсоюз работников сферы обслуживания), должны для всех нас стать высоким приоритетом. Эти усилия тесно связаны с технической реструктуризацией процессов труда и реформациями рабочего класса. Эти усилия также приносят понимание более объемлющего типа трудовой организации, учитывающей проблемы общественной жизни, сексуальности и семьи, которые никогда не имели особого значения в большей части белых и мужских промышленных профсоюзах. Структурные перестройки, связанные с социальными отношениями науки и технологии, резко амбивалентны. Однако нет необходимости окончательно опускать руки, осознавая импликацию отношения женщин конца XX в. ко всем аспектам труда, культуры, производства знания, сексуальности и воспроизводства. По очевидным причинам большинство марксистов лучше всего видят господство и с трудом понимают то, что

может выглядеть лишь как ложное сознание и соучастие людей в собственном порабощении в эпоху позднего капитализма. Очень важно помнить: то, что утрачено, возможно, в основном с точки зрения женщин, зачастую представляет собой злостные формы притеснения, но-стальгически натурализованные перед лицом нынешнего насилия. Амбивалентность в отношении прерванных единств, опосредуемая культурой высоких технологий, требует не сортировки сознания на категории «зрячей критики, основывающей прочную политическую эпистемологию» против «манипулируемого ложного сознания», но тонкого понимания рождающихся удовольствий, опытов и сил с серьезным потенциалом для изменения правил игры. Есть основания надеяться на появление в рождающихся базисах новых типов единства через расу, гендер и класс, ибо эти элементарные единства социалистически-феминистского анализа сами подвержены многообразным метаморфозам.

Усиление тягот, ощущаемое во всем мире в связи с социальными отношениями науки и технологии, серьезно. Но то, что люди чувствуют, само по себе не прозрачно, и нам не хватает достаточно тонких аналогий для коллективного построения эффективных теорий опыта. Сегодняшние усилия – марксистские, психоаналитические, феминистские, антропологические, – призванные прояснить даже «наш» опыт, находятся в зачаточном состоянии. Я сознаю странность перспективы моей исторической позиции – докторская диссертация по биологии ирландской девушки-католички стала возможной благодаря воздействию Спутника на американскую национальную научно-образовательную политику. Мои тело и дух настолько же определялись гонкой вооружений после Второй мировой войны и «холодной войной», как и женскими движениями. Для надежды оказывается больше оснований, если сосредоточиться на противоречивых эффектах политики; задуманной для производства лояльных американских технократов, но в то же время произведшей значительное число диссидентов, а не фокусироваться на нынешних поражениях. Перманентная частичность феминистских точек зрения имеет последствия для ожидаемых нами форм политической организации и соучастия. Нам не нужна тотальность, чтобы хорошо работать. Феминистская мечта об общем языке, как и все мечты об абсолютно истинном языке, абсолютно верном именовании опыта, тоталитарная и империалистическая. В этом смысле диалектика – тоже язык мечты, грезящий о решении противоречий. Возможно, по иронии, наши слияния с животными и машинами могут научить нас, как не быть Мужчиной, воплощением западного логоса. С точки зрения удовольствия от этих мощных и табуированных слияний, ставших неизбежными благодаря социальным отношениям науки и технологии, феминистская наука не так уж невозможна. Киборги: миф политической идентичности Я хочу закончить мифом об идентичности и границах, который мог бы оформить политическое воображение конца XX в.

Этой историей я обязана таким авторам, как Джоанна Расс, Сэмюэль Делэни, Джон Варли, Джеймс Типтри–младший, Октавия Батлер и Вонда Макинтайр. Это наши рассказы–ки, исследующие, что значит быть воплощенным в мирах высокой технологии. В исследовании понятия телесных границ и социального строя необходимо отметить антрополога Мэри Дуглас, помогшую нам осознать, насколько фундаментальна для мировоззрения и политического языка телесная образность. Французские феминистки, такие, как Люси Иригарэ и Моника Виттиг, при всех их различиях, знают, как писать тело, как сплести эротизм, космологию и политику из образов воплощения и – это особенно касается Виттиг – образов фрагментации и восстановления тел. Такие американские–радикальные феминистки, как Сьюзен Гриффин, Одри Лорд и Эдриен Рич, оказали глубокое влияние на наше политическое воображение и, возможно, излишне сузили критерии приемлемого тела и политического языка. Они настаивают на органическом, противопоставляя его технологическому. Но их символические системы, как и родственные позиции экофеминизма и феминистского язычества, изобилующие органицизмами, могут быть поняты лишь в терминах Сандовал как оппозиционные идеологии, соответствующие концу XX в. Они просто озадачат любого, кто не ушел с головой в проблему машин и сознания позднего капитализма.

В этом смысле они часть киборганического мира. Немалые богатства сулит феминизму и открытое принятие возможностей, заложенных в падении четких разграничений между организмом и машиной и других различий подобно рода, структурирующих западную самость. Одновременность падений – вот что взламывает матрицы господства и вскрывает геометрические возможности. Чему может научить личное и политическое, «технологическое» загрязнение? Я коротко остановлюсь на двух пересекающихся группах текстов, дающих представление о строении киборганического мифа, потенциально способного оказать нам помощь: они посвящены конструкциям цветных женщин и чудовищным самостям в феминистской научной фантастике. Ранее я высказала мысль, что «цветные женщины» могут пониматься как своего рода киборганическая идентичность, мощная субъективность, синтезированная из сплавов аутсайдерских идентичностей, и в сложных политико–исторических хитросплетениях «Зами» (Zami) в вышедшей из–под пера Одри Лорд «биомиографии» можно найти материал и культурные схемы, отражающие этот потенциал. Лорд схватывает тональность в заглавии своей книги «Сестра Аутсайдер» (Sister Outsider). В моем политическом мифе сестра Аутсайдер – офшорная женщина, которую американские рабочие, женщины и феминизированные мужчины должны рассматривать как врага, препятствующего их сплоченности, угрожающего их защищенности. В оншорном пространстве, внутри границ Соединенных Штатов, сестра Аутсайдер представляет собой потенциал среди рас и этнических идентичностей женщин, толкаемых

на разделение, конкуренцию и эксплуатацию в одних и тех же отраслях. «Цветные женщины» – предпочтительная рабочая сила для наукоемких производств, реальные женщины, для которых глобальный сексуальный рынок, рынок труда и политика репродукции – калейдоскоп повседневной жизни. Молодые кореянки, занятые в секс-индустрии и на конвейере электронной сборки, рекрутируются из высшей школы, воспитываются для интегральной схемы. Грамотность, особенно знание английского, отличает «дешевую» женскую рабочую силу, столь привлекательную для мультинациональных корпораций. В противоположность восточным стереотипам «устного пиджина», грамотность является особой меткой цветных женщин, добытая американскими черными женщинами, как и мужчинами, в долгой, смертельно опасной борьбе за возможность учиться и учить читать и писать. Письмо имеет особое значение для всех колониальных групп. Оно сыграло ключевую роль в западном мифе различения устных и письменных культур, первобытных и цивилизованных ментальностей, а недавно и в разрушении этого различия в постмодернистских теориях, атаковавших фаллоцентризм Запада, с его поклонением монотеистическому, авторитарному и уникальному творению, неповторимому и совершенному имени. Борьба за смыслы письма – важнейшая форма современной политической борьбы.

Отпустить игру письма – дело смертельно серьезное. Поэмы и повести американских цветных женщин не устают толковать о письме, о доступе к власти обозначения, только на сей раз эта власть не должна быть ни фаллической, ни невинной. Киборганическое письмо не должно говорить о Падении, воображаемой ныне канувшей цельности прежде языка, прежде письма, прежде Мужчины. Киборганическое письмо – о силе выжить не на основе изначальной невинности, а путем захвата орудий, чтобы пометить клеймом мир, который заклеил их как других. Такие орудия – чаще всего истории, пересказанные истории, версии, переворачивающие и смещающие иерархические дуализмы натурализованных идентичностей. В своем пересказе истории происхождения киборганические авторы подрывают центральные мифы происхождения западной культуры. Мы все были колонизованы этими мифами о происхождении, с их тоской по исполнению в апокалипсисе. Фаллоцентристские истории происхождения, наиболее важные для феминистских киборгов, встроены в технологии в буквальном смысле – технологии, пишущие мир, биотехнологию и микроэлектронику, – которые в последнее время текстуализовали наши тела как проблемы кода по трафарету С³I. Истории феминистских киборгов имеют своей задачей перекодировку коммуникации и информации для подрыва – команды и контроля. В действительном и переносном смыслах борьба американских цветных женщин полна языковой политикой, и истории о языке обладают особой силой в их богатой современной письменной традиции. Например, особое значение для конструкций идентичности

женщинами латиноамериканского происхождения имеют пересказы историй туземной американки Малинче, матери полукровкой «незаконнорожденной» расы Нового света, знатока языков и любовницы Кортеса. В книге «Любить во время войны» (Loving in the War Years) Черри Морага исследует темы идентичности в случае, когда человек никогда не владел изначальным языком, никогда не рассказывал изначальной истории, никогда не пребывал в гармонии законной гетеросексуальности посреди сада культуры, а значит, не может основывать идентичность на мифе или отпадении от невинности и праве на естественные имена, материнское или отцовское. Письмо Мораги, писательское мастерство представлены в ее поэзии как насилие того же рода, что и владение языком завоевателя в случае Малинче, – насилие, незаконное порождение, позволяющее выжить. Язык Мораги не «целен»; он сознательно раздроблен, представляя химерой английского и испанского, языков завоевателей.

Но именно этот химерический монстр, не заявляющий прав на изначальный язык прежде насилия, создает эротические, мастерские, мощные идентичности цветных женщин. Сестра Аутсайдер подает знак о возможности выживания мира не в силу своей невинности, а потому что способна жить на границах, писать без основывающего мифа об изначальной целостности с его неотвратимым апокалипсисом конечного возвращения к смертному единству, которое Мужчина вообразил невинной и всемогущей Матерью, освобожденной в Конце от очередной спирали апроприации своим сыном. Письмо метит тело Мораги, утверждает его как тело цветной женщины, наперекор возможности перетекания в неприметную категорию дочери англоотца или в восточный миф «изначальной безграмотности» матери, которой никогда не было. Здесь Малинче была матерью, а не Евой, еще не вкусившей запретный плод. Письмо утверждает сестру Аутсайдер, а не Женщину–прежде–отпадения–в–письмо, требующуюся для фаллоцентристской Семьи Мужчины. Письмо – преимущественно технология киборгов, надрезанные поверхности конца XX в. Киборганическая политика – это борьба за язык и борьба против совершенной коммуникации, против одного кода, который в совершенстве переводит весь смысл, этой центральной догмы фаллоцентризма. Вот почему киборганическая политика настаивает на важности шума и защищает загрязнение, приветствуя незаконные примеси животного и машины. Это сочетания, которые делают Мужчину и Женщину столь проблематичными, подрывая структуру желаяния, воображаемую силу производства языка и гендера, а значит, подрывая структуру и модусы воспроизводства западной идентичности, природы и культуры, зеркала и глаза, раба и господина, тела и духа. Не «мы» изначально избрали быть киборгами, но выбор обосновывает либеральную политику и эпистемологию, представляющую себе воспроизводство индивидов прежде более широких репликаций

«текстов». С точки зрения киборгов, освобожденные от необходимости базировать политику на «нашей» привилегированной позиции угнетения, вбирающего в себя все прочие господства, невинность просто подвергнутых насилию, основу тех, кто стоит ближе к природе, мы можем видеть далеко идущие возможности. Феминизмы и марксизмы сели на мель из-за западных эпистемологических императивов построений революционного субъекта под углом зрения иерархии угнетений и латентной позиции морального превосходства, невинности и большей близости к природе. Не имея никакой изначальной мечты об общем языке или изначальном симбиозе, обещающем защиту от враждебной «маскулинной» сепарации, но будучи вписаны в игру текста, не навязывающего никакого окончательно привилегированного прочтения или истории спасения, чтобы признать «себя» полностью включенными в мир, мы освобождаемся от необходимости основывать политику на идентификации, авангардных партиях, чистоте и материнской роли. Лишенная идентичности, незаконнорожденная раса учит силе маргинальности и важности такой матери, как Малинче. Из злой матери маскулинных страхов цветные женщины преобразили ее в изначальную грамотную мать, учащую выживанию. Это не просто деконструкция, но пороговая трансформация. Всякая история, которая начинается с изначальной невинности и отдает предпочтение возвращению к цельности, воображает драмой жизни индивидуацию, отделение, рождение самости, трагедию автономии, отпадение в письмо, отчуждение; т.е. войну, умеряемую воображаемой передышкой на лоне Другого. Эти схемы управляются репродуктивной политикой, имеющей в виду возрождение без изъяна, совершенство, абстракцию. В этой схеме женщин воображают либо лучше, либо хуже, чем они есть на самом деле, но все сходятся на том, что их самость меньше, индивидуация слабее, что они в большей степени слиты с оральным, с Матерью, что их ставки в маскулинной автономии меньше. Но есть и другой путь неимения больших ставок в маскулинной автономии – путь, который не пролегает через Женщину, Дикаря, Ноль, Стадию зеркала и ее воображаемое. Он ведет через женщину и других сегодняшних незаконных киборгов, не от Женщины рожденных, которые отвергают идеологические ресурсы обращения в жертву, дабы жить реальной жизнью. Эти киборги – народ, который отказывается исчезать по мановению, сколько бы раз западный комментатор ни отмечал печального ухода еще одной первобытной, еще одной органической группы, добитой западной технологией, письмом. Эти киборги реальной жизни, например описанные Айвой Онг южноамериканских электронных компаниях, активно переписывают тексты своих тел и обществ. Выживание – вот что стоит на карте в этой игре прочтений. Подведем итог. Итак, в западной традиции неизменно присутствовали определенные дуализмы; все они системно сочетались с

логиками и практиками установления господства над женщинами, цветными, природой, рабочими, животными, короче, господства над всеми, конституированными как другие, чья задача – зеркально отражать самость. Главные среди этих тревожных дуализмов – самость/другой, дух/тело, культура/природа, мужское/женское, цивилизованный/первобытный, реальность/видимость, целое/часть, деятель/ресурс, делатель/сделанное, активное/пассивное, правильное/неправильное, правда/иллюзия, тотальный/частичный, Бог/человек. Самость – это Один, кто не поработен, кто знает это, поскольку другой ему служит; другой держит в своих руках будущее, он знает это по опыту господства над собой, уличающему ложь автономии самости. Быть Одним – значит быть автономным, быть сильным, быть Богом; но быть Одним – значит быть иллюзией и таким образом вовлеченным в диалектику апокалипсиса с другим. Однако быть другим – значит быть множественным, без четких границ, размытым, невещественным. Один – это слишком мало, а два – слишком много. Культура высоких технологий интригующим образом бросает вызов этим дуализмам. В отношении человека и машины нет ясности, кто делает и кто сделан. Нет ясности, что есть дух и что тело в машинах, сводящихся к практикам кодирования. В той мере, в какой мы познаем себя в формальном дискурсе (скажем, в биологии) и в повседневной практике (например, в экономике домашней работы в интегральной схеме), мы обнаруживаем, что мы – киборги, гибриды, мозаики, химеры. Биологические организмы сделались биотическими системами, коммуникационными устройствами, подобными прочим. В нашем формальном знании машины и организма отсутствует фундаментальное, онтологическое разграничение технического и органического. Репликант Рэчел из фильма «Бегущий по лезвию ножа» (Blade Runner) предстает эмблемой страха, любви и смущения киборганической культуры. Одно из следствий – обострение нашего чувства связи со своими орудиями. Состояние транса, переживаемое многими пользователями компьютеров, сделалось шаблонным сюжетом научно-фантастических фильмов и интеллектуальных анекдотов. Возможно, наиболее интенсивные ощущения сложной гибридизации с другими коммуникационными устройствами могут переживаться (и иногда переживаются) параплегиками и людьми с серьезными физическими недостатками. Дофеминистский «Поющий корабль» (The Ship Who Sang) Энн Маккефри описывает сознание киборга, полученного путем скрещивания мозга девочки со сложным механизмом, сформировавшимся после рождения ребенка с серьезными увечьями. Гендер, сексуальность, воплощение, искусство – все стало предметом исследования в этой истории. Почему наши тела должны заканчиваться кожей или включать в лучшем случае других существ, обтянутых кожей? С XVII в. и по сей день машины могли анимироваться – получить призрачные души, что позволяло им говорить, двигаться, давать отчет в

своих упорядоченных действиях и умственных способностях. Организмы же могли механизироваться – редуцироваться к телу, понятому как ресурс духа. Эти отношения машины/организма устарели, сделались ненужными. Для нас – в воображении и иных практиках – машины могут выступать протетическими устройствами, интимными компонентами, дружественными самостями. Нам не нужны органический холизм и его продукты – герметическая цельность, тотальная женщина и ее феминистские разновидности (мутанты?). Позвольте завершить это рассмотрение очень фрагментарным прочтением логики

киборганических монстров моей в торой группы текстов – феминистской научной фантастики. Киборги, населяющие феминистскую научную фантастику, делают весьма проблематичными статусы мужчины или женщины, человека, артефакта, представителя расы, индивидуальной идентичности, тела. Кэти Кинг разъясняет, каким образом удовольствие от чтения этой литературы в значительной степени не основано на идентификации. Студенты, впервые сталкивающиеся с Джоанной Расс, студенты, научившиеся не морщась братья за таких модернистских писателей, как Джеймс Джойс или Вирджиния Вулф, теряются, открывая «Приключения Аликс Женомужа» (The Adventures of Alyx, the Female Man), где персонажи заводят в тупик читательский поиск невинной цельности и в то же время удовлетворяют желание героических приключений, бьющего через край эротизма и серьезной политики. «Женомуж» – история о четырех версиях одного генотипа, которые встречаются, но, даже сойдясь вместе, не составляют целого, не решают дилемм насильственного морального действия и не уходят от нарастающего гендерного скандала. Феминистская научная фантастика Сэмюэля Делэни, особенно «Сказания Невериона» (Tales of Neveryon), пародирует истории происхождения, переосмысляя неолитическую революцию, переигрывая первые шаги западной цивилизации, чтобы поставить под вопрос их осмысленность. Джеймс Типтри-младший – автор, чьи сочинения считались подчеркнуто мужественными до тех пор, пока не открылся ее «истинный» пол, – рассказывает о репродукции, основанной на чуждых млекопитающим технологиях, таких, как чередование поколений или вынашивание и вскармливание потомства мужчинами. Джон Варли рисует образ сверхкиборга в своем архифеминистском исследовании Геи, безумной богини-планеты-трикстера-старухи-техноустройства, на поверхности которой зарождается необыкновенный выводок посткиборганических симбиозов. Октавия Батлер пишет об африканской колдунье, оттачивающей свою силу превращения в столкновении с генетическими манипуляциями соперницы, – «Дикое семя» (Wild seed); о временных искажениях, переносящих современную американскую чернокожую женщину в прошлое, где она – рабыня и ее действия в отношениях с ее белым господином-предком обуславливают возможность ее собственного рождения, – «Родня» (Kindred); о незаконном исследова-

нии идентичности и общности приемного ребенка, сына двух видов, который в конечном счете узнает врага в себе самом, – «Выживший» (Survivor). В своем недавнем романе «Рассвет» (Dawn, 1987), первом в серии, названной «Ксеногенезис» (Xenogenesis), Батлер рассказывает историю Лилит Ияпо, чье имя напоминает о первой, отвергнутой жене Адама, а фамилия отмечает ее статус как вдовы сына нигерийских иммигрантов в Соединенных Штатах. Чернокожая женщина и мать умершего ребенка, Лилит выступает посредником в процессе трансформации человечества благодаря генетическому обмену с внеземными любовниками/спасителями/разрушителями/генными инженерами, которые преобразуют земные веса, оставшиеся после ядерного холокоста, и подталкивают выживших людей к тесному слиянию с ними самими. Это роман, расследующий репродуктивную, языковую и ядерную политику в мифическом поле, структурированном расовой и гендерной реальностью конца XX в. Благодаря особенному богатству нарушенных границ «Суперлюминал» (Superluminal) Вонды Макинтайр может завершить этот куцый каталог многообещающих и опасных монстров, помогающих дать новое определение удовольствиям и политике воплощения и феминистского письма. В литературе, где ни один из персонажей не является «просто» человеком, человеческий статус оказывается в высшей степени проблематичным.

Орка, генетически измененная ныряльщица, может разговаривать с китами-убийцами и выживать в океанских глубинах, но мечтает исследовать космос в качестве пилота, для чего ей требуются бионические имплантаты, ставящие под вопрос ее родство с ныряльщиками и китовым племенем. Метаморфозы осуществляются посредством вирусносителей новой генетической программы, хирургической пересадки органов, имплантации микроэлектронных устройств, аналоговых двойников и т.п. Лэнея становится пилотом, получив имплантат сердца и кучу иных изменений, позволяющих выжить в условиях сверхсветовых скоростей. Раду Дракул выздоравливает от вирусной чумы на своей далекой планете и обнаруживает в себе новое чувство времени, изменяющее границы пространственно-го восприятия для всего вида. Все персонажи исследуют пределы языка, мечту о сообщении опыта и необходимость ограничения, частности и интимности даже в этом мире многообразных метаморфоз и взаимосвязей. «Суперлюминал» показателен также и с точки зрения определения противоречий мира киборгов в другом смысле: книга текстуально воплощает пересечение феминистской теории и колониального дискурса в научной фантастике, на которое я уже намекала в этом эссе. Это соединение имеет давнюю историю, которую многие феминистки первого мира пытались замаять, в том числе и я сама в своем прочтении «Суперлюминала», прежде чем меня призвала к ответу Зоя Софулис, чье отличное от моего место в информатике господства мировой системы сообщило ей острую восприимчивость к империалистическим моментам всех

научно-фантастических культур, включая женскую научную фантастику. Благодаря своему австралийскому феминистскому чутью Софулис скорее вспоминала роль Макинтайр как автора приключений капитана Кирка и Спока из «Звездного пути» (Star Trek), нежели ее версию романа в «Суперлюминале».

В западном воображении монстры всегда определяли границы общины. Кентавры и амазонки устанавливали пределы поставленного в центр полиса греческого мужского человечества своим подрывом брака и пограничными загрязнениями война животностью и женщиной. Сросшиеся близнецы и гермафродиты поставляли неупорядоченный человеческий материал в раннесовременной Франции, который обосновывал дискурс о естественном и сверхъестественном, медицине и законе, знаменьях и болезнях – все решающие моменты для установления современной идентичности. Науки об эволюции и поведении мартышек и обезьян обозначили множественные границы индустриальных идентичностей конца XX в. Киборганические монстры феминистской научной фантастики определяют политические возможности и границы, совершенно непохожие на те, что предложены приземленным вымыслом о Мужчине и Женщине. Серьезное восприятие образов киборгов иначе, чем как наших врагов, имеет ряд последствий. Наши тела, мы сами – тела суть карты силы и идентичности.

Киборги не исключение. Тело киборга не невинно; оно не рождено в Саду; оно не ищет унитарной идентичности, а значит, без конца (или до скончания веков) производит антагонистические дуализмы; оно воспринимает иронию как данность. Один – слишком мало, а двое – это лишь одна из возможностей. Интенсивное удовольствие от умения, машинного умения, перестает быть грехом и становится аспектом воплощения. Машина – не оно, подлежащее анимации, поклонению и порабощению. Машина – это мы, наши процессы, аспект нашего воплощения. Мы можем быть ответственны за машины; они не господствуют над нами и не угрожают нам. Мы ответственны за границы; мы – это они. Вплоть до сего дня (некогда) женское воплощение считалось данностью, органической и необходимой; женское воплощение казалось выражением умения в сфере материнства и его метафорических расширений. Лишь оказываясь не на своем месте, мы могли отдаваться интенсивному удовольствию от машин, причем извиняя себя тем, что в конечном счете это органическая деятельность, подобающая женщинам. Киборги могли бы более серьезно принять во внимание частичный, текучий, непостоянный аспект пола и полового воплощения. Гендер, возможно, в итоге не окажется глобальной идентичностью, несмотря на всю свою историческую ширину и глубину. Используя образ киборга, можно подступить к идеологически заряженному вопросу о том, что считается повседневной деятельностью, опытом. Не так давно феминистки выступили с заявлением, что женщины погружены в повседневные заботы, что женщины в большей степени, чем мужчины, так или иначе

поддерживают повседневную жизнь, а значит, потенциально занимают привилегированную эпистемологическую позицию. В этом заявлении есть весьма привлекательный аспект – он указывает на неоцененную женскую деятельность и называет ее основой жизни. Но – основа жизни? А как быть с невежеством женщин, со всеми исключениями и неудачами в том, что касается знания и умения? Как быть с мужским доступом к повседневной компетенции, к знанию о том, как делать вещи, разбирать их, играть? Как быть с другими воплощениями? Кибборганический гендер – это локальная возможность глобального отщепенения. Раса, гендер и капитал нуждаются в кибборганической теории целостностей и частей.

В кибборгах нет завода для производства тотальной теории, но налицо глубокое ощущение границ, их конструкции и деконструкции. Налицо мифическая система, выжидающая момента, чтобы стать политическим языком и обосновать один из способов рассмотрения науки и технологии и опровержения информатики господства – для обеспечения сильного действия. Один последний образ: организмы и организмическая, холистическая политика зависят от метафор возрождения и неизменно обращаются к ресурсам репродуктивного пола. Я бы предположила, что кибборги больше имеют отношение к регенерации и питают подозрения насчет репродуктивной матрицы и вообще родов. Для саламандр регенерация в случае увечья, такого, как потеря конечности, предполагает отращивание заново структуры и восстановление функции при постоянной возможности дублирования или иных странных топографических результатов на месте прежнего увечья. Выращенная заново конечность может оказаться чудовищной, сдвоенной, сильнодействующей. Мы все испытали увечье, и глубокое. Нам требуется регенерация, не возрождение, и возможности нашего восстановления включают утопическую мечту о надежде на чудовищный мир без гендера. Кибборганическая образность может помочь выразить два ключевых аргумента в этом эссе: 1) производство универсальной, тотализирующей теории – величайшая ошибка, упускающая большую часть реальности, возможна всегда, но сегодня определено; 2) принять ответственность за социальные отношения науки и технологии означает отказать от антинаучной метафизики, демонологии технологии, означает, стало быть, взяться за требующую умения задачу по реконструкции границ повседневной жизни, в частичной связи с другими, в общении со всеми нашими частями.

Дело не только в том, что наука и технология – это возможные средства огромного человеческого удовлетворения, так же как и матрица сложных сетей господства. Кибборганическая образность может подсказать путь из лабиринта дуализмов, в который мы загнали своим объяснением наши тела и наши орудия. Это мечта не об общем языке, но о мощной еретической гетероглоссии. Это воображение, рисующее фигуру феминистки, рекущей на

языках для устрашения сетей суперспасителей из числа новых правых. Это значит и строить, и разрушать машины, идентичности, категории, отношения, пространства, истории. Мне бы больше хотелось быть киборгом, чем богиней, хотя тот и другая связаны одним хороводом.

Социальные исследования иммунологии

В 1882 году русский физиолог Илья Мечников открыл явление иммунитета. Его семья уехала в цирк смотреть представление обезьян, он остался дома и решил провести простой эксперимент. Он взял прозрачную личинку морской звезды, проткнул ее шипом розы и оставил до утра. Утром проснулся, посмотрел в микроскоп на личинку и увидел активность существ, которых он назвал фагоцитами. Само явление назвал фагоцитозом и предположил, что таким образом наш организм защищает себя от внешних воздействий, и способность к защите назвал словом «иммунитет».

Само слово «иммунитет» имеет очень долгую историю. Оно появилось в римском праве и было связано с освобождением от тех или иных обязанностей — оно имеет юридическое происхождение. Но Мечников решил использовать это слово для обозначения некоторой биологической реальности. С тех пор прошло много лет, в конце 80-х годов иммунология очень прочно вошла в нашу жизнь, и с ее помощью стали объяснять здоровье человека, его жизнь и смерть. По большому счету, когда сегодня говорится о медицинских вещах, очень много используется иммунологических терминов и понятий, в том числе и в повседневности. Иммунология имеет несколько дат рождения. Это не только декабрьский вечер 1882 года, это и 30-е годы XX века, когда появляются первые кафедры, это 60-е годы XX века, когда появляется само понятие иммунной системы, ключевое для данной дисциплины, и это 80-е годы, когда через научно-популярные журналы, через обложки, через статьи иммунология постепенно входит в жизнь простых людей. И люди начинают оперировать этими терминами и понятиями, такими, например, как иммунитет.

В 90-х годах появляются исследования, в которых ученые пытаются понять, каким образом появляется представление об иммунных системах. Здесь речь идет об ученых-гуманитариях. Антропологи, социологи и философы науки пытаются выяснить, каким образом, где и кем конструируются иммунные системы. Пионерской работой здесь является работа феминистского автора, американского исследователя Донны Харауэй. В 90-х годах она издала статью, которая называлась «Биополитика постмодерных тел».

В этой статье речь идет о том, что иммунные системы не существуют сами по себе, они не являются частью природы,

они не существуют в телах. Это очень сложные полиморфные гетерогенные объекты, которые состоят из большого количества акторов, или действующих лиц. Причем природа этих акторов двоякая: они могут быть материальными объектами, и они могут быть смыслами или значениями — семиотическими объектами.

Харауэй одна из первых указала на то, что иммунные системы играют очень важную роль в жизни людей, как раз в 90-х годах, и, когда люди говорят о своем здоровье, они так или иначе используют терминологию, связанную с иммунными системами. И, соответственно, для Харауэй очень важно было показать не только то, что иммунные системы не существуют в природе, они не являются частью природы, но и то, что в этих сложных объектах существуют очень подвижные границы.

Для иммунологии очень важным является различие между своим и чужим. Это различие в 60-х годах ввел иммунолог Фрэнк Бёрнет. Свое — это тело, иммунная система, а чужое — это окружающая среда, патогены, которые пытаются воздействовать на организм и вызвать болезнь определенным образом. Благодаря тому, что существует очень жесткое различие между своим и чужим, возможен иммунный ответ. Соответственно, иммунная система распознает себя и не реагирует на себя, распознает чужое, или не свое, и реагирует на него определенным образом.

Для феминистки Харауэй очень важно было показать, что границы являются подвижными. Например, она обращается к древнегреческой науке и показывает, что греки, основоположники самого принципа границы (например, для них очень важно было отграничивать человека и животное, мужское и женское — мужское как идеал человеческого), те, кто установил эти строгие границы в европейской мысли, отходят от своего принципа и постоянно вводят различного рода существ, которые имеют гибридную природу. Например, амазонки — это формально женщины, но они ведут себя как мужчины, а кентавр — это явно гибридное существо.

Соответственно, подобного рода гибридизация характерна и для иммунных систем, она характерна для человеческих тел. Подобную гибридизацию Харауэй описывает с помощью слова «киборг» — это ее любимое слово, — а в случае с иммунной системой она пытается показать, что границы между человеческим телом и окружающей средой достаточно условны. Делает она это оригинальным способом. Для ученых, пожалуй, главным свидетельством того, что иммунные системы существуют, являются так называемые микрофотографии — это фотографии компонентов иммунной системы, которые сделаны с помощью электронного микроскопа. Эти фотографии выглядят очень странно и вызывают в воображении различные образы: от галактик до морского дна. И Харауэй показывает, исходя из некоторого анализа этих микрофотографий, что человек, который понимает, что его «свое», его самость, его «Я», его иден-

005

тичность больше не функционирует в том виде, в котором функционировало до этого, — как некоторый контролирующий, центральный орган, который управляет своим телом, — фотографии являются свидетельством некоторой реальности, выходящей за пределы человеческого тела. Отсюда Харауэй делает вывод о том, что границы между человеческим телом и окружающей реальностью, между своим и чужим, являются подвижными, то есть они не являются раз и навсегда закрепленными. Наш опыт смотра на подобного рода микрофотографии колеблет наше представление о том, что наше «Я» способно контролировать эту реальность и определенным образом взаимодействовать с окружающей средой.

У Донны Харауэй была очень талантливая ученица — Эмили Мартин, американский антрополог. Она занималась исследованием родства на Тайване и в Китае, а потом написала несколько антропологических книг, которые были посвящены проблематике, нетрадиционной для антропологии. Она издала книгу о воспроизводстве, потом книгу по иммунологии, и позже она издала книгу о так называемой биполярной депрессии.

Книга по иммунологии называется «Гибкие тела». Это очень интересное антропологическое исследование, проведенное в начале 90-х годов в Бостоне и Балтиморе. Харауэй вместе со своими помощниками спрашивала людей в различных группах, что они думают про иммунные системы, как, по их мнению, иммунные системы работают, просили нарисовать иммунные системы, описать, что они видят и что они думают, показывая им микрофотографии компонентов иммунной системы.

Донна Харауэй разговаривала с людьми на улице, со студентами, которые изучали иммунологию, с учеными в лаборатории, с представителями нетрадиционной медицины, с людьми, которые были тяжело больны, например, СПИДом, и так далее. В результате этих разговоров выяснилось, что люди представляют себе работу иммунной системы в основном в контексте столкновения своего и чужого. Это такая милитаристская модель иммунной системы. Речь шла о том, что тело все время находится на войне, и работа иммунной системы описывалась в терминах войны и военного дела. То есть могла изображаться крепость, и проникновение болезни представляло собой осаду этой крепости. Соответственно, Харауэй проводит параллель между этой моделью иммунной системы, в которой речь идет о разделении между своим и чужим, и подобного рода представлениями у людей.

Тем не менее некоторые люди рассказывали альтернативные модели иммунной системы, в которой не было четких границ. Одна женщина нарисовала волны океана. Когда у нее спросили, что она имеет в виду под работой иммунной системы в виде океана, она сказала: «Моя иммунная система работает в контексте баланса: если приходит болезнь, то одна ее часть поднимается, а если болезнь уходит, то она опять опускается, и все возвращается на место».

Харауэй показала, что подобного рода конкуренция между разными моделями не делает эту науку гомогенной. Здесь нет раз и навсегда данного знания об иммунных системах — это знание находится в становлении. Иммунология представляет собой конкуренцию нескольких моделей.

Помимо модели Бёрнета, есть еще как минимум две модели, которые показывают, что иммунная система работает совсем по-другому.

В 1984 году датский иммунолог Нильс Йерне получил Нобелевскую премию за свое описание работы иммунной системы. В его концепции иммунная система не взаимодействует с внешним миром, а она постоянно раздражает сама себя и постоянно готовит иммунный ответ до того, как он придет со стороны. Можно назвать эту модель ауто-поэтической.

Третье представление о работе иммунной системы существует в микробиологии. Эту модель можно назвать симбиотической. Речь идет о том, что между своим и чужим тоже нет никаких границ, потому что так называемые друзья и враги все время находятся в симбиозе. Без симбиоза невозможно было бы объяснить, например, пищеварение, потому что речь идет о так называемой дружественной флоре. То есть те, кого в классической модели считают врагами, на деле оказываются друзьями и помогают нам в случае с пищеварением.

Главная идея Харауэй заключалась в том, что люди совершенно по-разному представляют себе работу иммунной системы, это концентрируется вокруг нескольких моделей. И по большому счету иммунология — это конкуренция нескольких моделей иммунной системы. Но если и для Харауэй, и для Мартин работа иммунной системы была связана с тем, что где-то в теле существует какая-то реальность, которую мы называем иммунной системой, подобно вещи в себе, а мы, либо люди на улице, либо люди в лаборатории, либо исследователи-гуманитарии определенным образом ее интерпретируем, то следующий шаг в социальном анализе иммунных систем будет связан с тем, что мы увидим, что никакой иммунной системы внутри тела не существует. Каждый раз иммунная система заново создается и конструируется в том или ином месте: в лаборатории это может быть одна модель, в клинике это другая, на улице может быть третья модель.

И проблема будет заключаться в том, каким образом эти разные модели коррелируют друг с другом, какая работа координации проводится, чтобы у людей складывалось впечатление, связанное с тем, что существует только одна иммунная система. В этом смысле было бы интересно посмотреть на отдельно взятое учреждение, в котором существуют разные отделения или разные отделы. Посмотреть, какие рассогласования в понимании конструкции иммунных систем существуют между этими отделениями или отделами, между лабораторией и клиникой, между администрацией и людьми, которые ожидают приема, и так далее. Интересно было бы посмотреть, с одной стороны,

Глоссарий

Виртуальная реальность – созданный техническими средствами и передаваемый человеку комплекс ощущений: визуальных, звуковых, тактильных, обонятельных, как правило – в режиме «реального времени». В случае интерактивного интерфейса подразумевается реалистичная реакция на действия пользователя.

«Влажное» искусство – область художественных исследований, совмещающих в себе «сухие» силиконовые модели эволюционных процессов (напр., Искусственная жизнь, Генеративное искусство и т.д.) и «влажное» молекулярное проектирование живых/полуживых организмов (*Ars Genetica*, *Ars Chimaera*, Искусство и культура ткани и др.).

Генеративное искусство – область художественной деятельности, в которой для создания произведения искусства автор использует систему (набор правил, компьютерную программу и т.д.) или иное процессуальное решение, способное функционировать с некоторой долей автономности. Данная система может быть как естественной, так и искусственной.

Генетическое искусство (*Ars Genetica*) – область художественной деятельности, связанная с получением организмов с наследуемыми заданными эстетическими свойствами. В классическом понимании *Ars Genetica* основывается на популяционной генетике (область, которая изучает основные факторы эволюции – наследственность, изменчивость, отбор) и мутационной генетике (учение о возникновении мутаций).

Иммерсивные технологии (или технологии с эффектом присутствия) – вид онлайн-интерактивных технологий, позволяющих зрителям как бы принимать участие в разыгрываемых на экране сценах. В области видео – технология, обеспечивающая круговой обзор каждого сюжета. Иммерсивная среда – среда, обеспечивающая полный эффект присутствия за счет определенного набора технологий.

Искусственный интеллект (искусственный разум, AI) – способность прикладного процесса обнаруживать свойства, ассоциируемые с разумным поведением человека.

Искусство и культура ткани – область художественной деятельности, связанная с использованием технологии тканевой инженерии, которая позволяет в лабораторных условиях культивировать органы и ткани различных организмов *in vitro*.

